



Собрание сочинений

Юзеф Игнаций
Крашевский

Роман без названия
Том 2

Юзеф Игнаций Крашевский
Роман без названия. Том 2

«Э.РА»

1853–1854

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю.

Роман без названия. Том 2 / Ю. Крашевский — «Э.РА», 1853–1854

ISBN 978-5-99062-250-0

Эта книга представляет собой продолжение одного из лучших романов Ю. Крашевского – «Романа без названия». В 80-х годах XX века в России уже издавались первые две части этого романа. В книге показана дальнейшая жизнь писателя и поэта Станислава Шарского, его взлёты и падения, популярность и забвение... несчастная любовь. Отчасти роман является автобиографическим.

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-250-0

© Крашевский Ю., 1853–1854
© Э.РА, 1853–1854

Содержание

Часть III	6
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Юзеф Игнаций Крашевский

Роман без названия. Том 2

© Бобров А.С. 2018

Часть III

Militia est vita hominis super terram¹

Бедной матери осталось жить недолго, ровно столько, чтобы выстрадать за свои грехи; впрочем, её жизнь протекала в непонятном сновидении. Когда её домик на Лоточке стал страшной пустотой, а Каролек пошёл к отцу и сёстрам на Россу, Дормундова впала в какое-то особенное состояние, из которого уж никакие старания вывести её не могли, ни полная самоотверженность для неё Станислава, который исполнил святую волю её сына, ни лекарские средства, используемые Брантом, пробуящего всё, но заранее объявляющего, что когда болезнь душа создаёт и уничтожает тело, нет на то в медицине лекарства. Дормундова перестала плакать и говорить, ходила как немая тень, бессознательная, похудевшая и, не позволив ничего передвигать в комнатке Каролка, все дни с его тенью на обычном своём месте проводила, оберегая свои сокровища, памятки. Самую маленькую частичку бумаги, на которой он написал несколько слов, она спрятала как реликвию и не раз долго, долго держала перед глазами бесформенные рисуночки, начерченные его ещё детской рукой. Марта почти силой пыталась её кормить, Станислав – принуждал к отдыху, но чаще всего, пробыв несколько дней и ночей без движения в комнатке, наконец, утомлённая бессонницей и страданием, падала на пол у кровати сына и так засыпала на несколько часов, после которых снова начинались прерванные на короткое время воспоминания и страдания. Состояние такое не могло продолжаться долго; исчерпывая все силы, оно должно было измениться или перестать, а так как глубокому горю матери могла положить конец только смерть, Дормундова в горячке страдания прожив несколько месяцев, наконец закончила жизнь, густо переплетённую страданием.

В течении всего этого времени медленного угасания Станислав не отошёл от неё ни на минуту; стал для неё в действительности усыновлённым ребёнком, неутомимой заботой, с какой служил бедной бессознательной женщине. Вильно стоял опустевшим, академики выехали; товарищи исчезли, он один, сломленный множеством испытаний, остался отважно тянуть этот плуг недоли и долга. Доктор Брант только немного ему помогал, не отступая от несчастной, пытался прибавить сил и мужества Шарскому.

Но когда молодой опекун вдовы, уверенный, что время должно смягчить человеческую боль, и что Бог её дольше сохранит при жизни, спрашивал о надежде у лекаря, тот совсем не скрывал от него последствий, которые для него были явными.

– Мой дорогой, – сказал он, – правда, есть раны, которые исцеляются, но есть и неизлечимые, к этим нужно отнести страдания Дормундовой, у которой ничего не осталось на свете, так как то, в чём замкнула свою жизнь, ушло в иной, лучший свет. Она должна умереть и скоро умрёт, потому что ежедневно явно чахнет на наших глазах. Если бы она хотела оторваться от этого зрелища, искать средства... но она не думает о себе, она ещё плачет по своему последнему и со слезами душой пренебрегает.

Таким образом, это зрелище неизлечимой боли и медленной смерти было жестоким для молодого сердца; а Станислав, несмотря на свою привязанность к вдове и сострадание к ней, должен был добывать все свои силы, чтобы исполнить долг. Днём и ночью, в непрерывном молчании он бдил над ней, спал, когда она на мгновение засыпала, и то не ложась, а малейший шелест будил испуганного. Комнатка, рядом с которой он постоянно должен был стоять на страже, грустная как гроб, в его глазах казалась неустанной угрозой и напоминанием о смерти; смерть окружала его вокруг, каждую минуту он должен был опасаться, как бы из его мимолётного сна стук забивающейся крышки гроба неожиданно не разбудил.

¹ Жизнь человека на земле – борьбы (лат.)

Пани Дормунд слабела, слабела, не изменила режима этой исчерпывающей жизни и в последний день казалась какой-то более сознательной; промолвила несколько слов, объявила какое-то желание, начала вроде бы возвращаться к жизни. Станислав неизмерно обрадовался, в него вошла надежда, он послал за доктором Брантом и за другом вдовы, нотариусом Пальским, которых она хотела иметь при себе. Оба, сразу прибыв, закрылись с ней, а Шарский опустился на колени благодарить Бога за то, что считал Его чудом. Каков же был его испуг, когда лекарь, выходя из покоев пани Дормунд, миной показал ему, что потерял всякую надежду.

– Но ей было лучше! – воскликнул Станислав.

– Это лучше всегда предшествует смерти и объявляет о ней в болезнях этого рода, особенно в тех, что происходят от души либо касаются души. Дормундова исчерпала себя страданием до последней капли жизни и силы.

Пальский вышел также с какими-то бумагами, заплаканный и смешанный. Следом за ним показалась пани Дормунд, вроде бы более сознательная, но опёршись на руку Марты, которая должна была тянуть её, так как своими силами не могла. Казалось, она ведёт её к кровати сына, та встала перед ней на колени, начала целовать его игрушки и расплакалась громким рыданием.

Марта, как и Станислав, ошибалась, думая, что плачь может ей помочь и облегчить, потому что давно имела сухие глаза; но тут же Дормундова поднялась, зовя Станислава. Это её обращение к нему снова было таким чрезвычайным, что Шарский побежал, восстанавливая надежду.

– Встань на колени, дитя моё, – сказала она слабым голосом, – благословляю тебя, благодарю тебя от моего имени и Каролька за принятие сыновнего бремени. Дай тебе Боже, чтобы жизнь принесла тебе столько радости и счастья, сколько ты насмотрелся и натерпелся страдания... Пальский уже знает, что я хочу...

Едва это произнесла прерывающимся голосом, вдова снова начала плакать и рыдать, бросилась судорожно на ложечко сына и на нём бедная скончалась. Долго Станислав и Марта обтирали и помогали, думая, что она только в обмороке; но когда подошёл Брант, должны были подчиниться смерти.

Тихо прошли похороны вдовы, за бедным возом которой (потому что оставшиеся свои деньги на этот обряд отдал Станислав), пошли только Брант, Пальский, Станислав и Марта. Из давних друзей более светлых времён, в которых Дормундова сияла среди первых в обществе виленских женщин красотой, остроумием и богатством, никто о ней вспомнить не хотел. Место её на кладбище уже было обозначено между мужем и детьми; последняя пришла в группу, по которой столько слёз пролила.

После похорон Станислав задумался, что с собой делать и как начать новую жизнь, когда сразу на следующий день Брант, Пальский и незнакомый урядник пришли к нему с бумагами. Марта, уже никого не видя, доступ в дом не охраняя, сидела окаменелая на лестнице, страшная от горя, какое рисовалось на её старом и измученном лице.

Станислав понял этот приход потребностью в сдаче дома и, захватив как можно быстрее всё, что было своего, взялся за ключи.

– Подождите-ка, пан, – сказал Пальский, – потому что это не вы нам, а мы вам, согласно завещанию, должны сдать дом и движимое имущество.

– Как это? – спросил Станислав.

– Разве вы не знаете, что являетесь наследником покойной?

– Я? – воскликнул удивлённый Шарский.

– А, да! Да! – добавил Пальский медленно. – Но это честное желание покойной без какого-либо для вас результата: этот дом обременён долгами, в два раза превышающими стоимость его и движимого имущества; поэтому я желаю тебе забрать то, что можно, из движимости и отказаться от остального.

– Но я совсем ничего не хочу, – воскликнул Станислав.

– И ничего тебе также, дитя моё, кроме какой-нибудь памятки, не перепадёт, – ответил Брант, вздыхая. – У бедняжки Дормундовой всегда было то убеждение, что ещё что-то имеет, и что её только враги преследуют, но на самом деле не было и гроша накопленного. Думала, что сделает тебе большой подарок, от сердца хотела учинить, что могла, а на самом деле ничего не сделала.

– Ради Бога! – воскликнул Станислав. – Разве можете вы думать, что я чего-нибудь хотел, на что-нибудь надеялся?

– Но нет, – ответил Брант, беря понюшку, – разве я не знаю, что ты ей отдал остаток своего и за своё её похоронил. Забирай, пока есть время, движимое имущество, и пока кредиторы не опомнились, своё, по крайней мере, старайся вернуть.

– Я ничего не хочу, не хотел, не возьму, – прервал с возмущением Шарский. – Думайте, господа, не обо мне, а скорее о той несчастной старухе, которая не имеет приюта, угла и хлеба, целый век на службе их потеряв.

– Трудно этому будет помочь, – сказал Пальский, – гроша не осталось.

– Значит, передайте ей то, что уцелеет из движимости, чтобы обеспечить ей хлеб и кров. Брант со слезами, которые скрыть или вытереть не думал, обнял Станислава.

– Не тревожься о том, – сказал он, – есть ещё честные сердца, не пропадёт старая Марта.

В эти минуты во дворе послышался шум и толпа людей от ворот с полицейскими, с комиссаром во главе вкатилась на крылечко. На нём сидела Марта; но раньше такая грозная, теперь даже не двигалась, смотрела равнодушно, бормоча под носом:

– Идите, идите, вороны! Вы убили пана, поубивали детей, добились её... забирайте и своё... а мне уже нечего тут делать.

Сказав это, она встала и пошла на кухню, и быстро из неё сразу выбежала с узелком на плечах, с палкой в руке, с метёлкой, сделанной на скорую руку; она опустила голову, собираясь уйти, когда шум внутри дома её остановил, жалость стиснула ей сердце и она снова села на ступени.

Этой толпой были большие и малые кредиторы покойной, требующие свои права, а Пальский, пытающийся хоть что-нибудь спасти для Шарского, начал с прочтения им формального завещания вдовы.

– Как же она могла что записывать, – выкрикнул один господин в сюртуке с бобровым воротником и серьгой в ухе, – когда ничего не имела! Пусть сначала отдадут, что нам должны.

– Это очень хорошо, – сказал Пальский, пытающийся опередить Станислава, который собирался отказаться, – но, господа, вы должны доказать свои права, а тем временем исполнится воля покойной и недвижимость перейдёт к новому владельцу, с которым будете сверяться. Я это дело беру на себя.

– Да! – воскликнул другой. – Одно стоит другого! Вы нас и при жизни обманывали и после смерти думаете ещё тянуть по судам; но с этого ничего не будет: есть декрет!

– А, может, и будет несмотря на декреты! – сказал, с хладнокровием складывая завещание, Пальский. – Эти долги, которые каждый год росли вдвое... мы возьмём на калькуляцию, присягу... либо войдём в соглашение...

Не очень чистые кредиторы боялись юриста, потому что его только умом и ловкостью вдова лет десять держала при доме – посмотрели друг на друга.

– Что тут договариваться! – сказал бобровый воротник, который давал в долг от двадцати до ста. – Всё и так наше!

– Или не ваше! – проговорил, прикидываясь равнодушным, Пальский.

– Посмотрим!

– Посмотрим!

– Господа! – прервал, пытаясь протолкнуться, Станислав.

– С позволения, – не давая ему отозваться, прервал Пальский, – пан, ты тут голоса не имеешь, твои права ещё не узаконены.

– Пан, не вмешивайся, – проговорил один из трусливых кредиторов, не зная, что говорил против себя, и пытаясь сыграть какую-то роль.

– Ну! Но я любопытен, какие могут быть соглашения? – спросил старичок в мелкопоместном капоте, который, как только вошёл в дом, внимательно рассматривал движимое имущество, держа руки в карманах.

– Это зависит... – сказал коротко Пальский.

– Всё-таки на чём его основать? – добросил бобровый воротник. – И я любопытен.

– Нужно, чтобы вы, господа, выкупая права наследника, что-то пожертвовали! – выговорил Пальский.

– С позволения! – тщетно пытаясь подать голос, громче воскликнул Станислав, которого это невыносимо мучило. – Но я... я...

– Но вы не имеете голоса! – заглушил голосом Стентора доверенное лицо.

– Помалкивай, пан! – грозно повторили за ним кредиторы.

Станислав снова должен был умолкнуть.

Пальский начал подмигивать кредиторам, как бы с ними соглашался, убеждая их, что говорил в их интересе.

– Что же тогда, господа, вы отдаёте наследнику?

Кредиторы посмотрели друг на друга, очевидно не зная, что должны дать.

– Движимое имущество, – шепнул Пальский.

Кому-то показалось, что это слово проговорил не нотариус, но один из них, и начали тихо переговариваться о движимости.

– Могут быть драгоценности, – обратил внимание мелкопоместный капот.

– Есть перечень, – ответил Пальский.

Все глаза обратились на указанную в эти минуты бумагу и начали читать. Стась снова пожелал отозваться, но его сразу заглушили, вся толпа была против него, хотя сам не знал из-за чего. Брант, грустно поглядывая на эту сцену, горько усмехнулся за табакеркой, которую держал в руке.

После очень короткого, полностью в шёпоте, совещания, отступило движимое имущество наследнику, требуя только отказа от всяких прав его и претензий.

В минуту, когда это составлялось, Станислав, по-прежнему тщетно пытающийся заговорить, потому что ему то Пильский, то Брант, то кредиторы высказаться не давали, схватил, наконец, до крайности раздражённый, свой узелочек и протиснулся к двери.

На лестнице сидела ещё Марта Жмудянка.

– Пойдём, старая, – сказал Шарский, – пойдём, нам обоим уже нечего здесь делать. Возможно, мы вынесем из этого дома самое лучшее – воспоминания дорогих умерших, а пока я жив, не дам и тебе умереть с голоду, заработаем себе на кусочек хлеба.

Марта грустно улыбнулась.

– Смотрите, – сказала она как сама себе, – какой добрый! Дай тебе Бог здоровья, рыбонька, а на что же я тебе ещё должна быть бременем! Я уже подумала и состояние выбрала. Откуда бы взялись нищие под костёлом, если бы такие, как я, не прибывали под конец жизни. Живут они, дорогой, и я тем самым хлебом прокормлюсь! Ну, что плохого в том, чтобы вытянуть руку, когда уже к работе непригодна! Пусть тебя Бог вознаградит за твоё доброе сердце, но я этого не хочу, справлюсь сама!

– Почему? – отпарировал Шарский. – Разве ты не могла бы быть мне помощью? Сторожем, хозяйкой, слугой, как тут была?

– О, нет, нет! – кивая головой, воскликнула Марта. – Вот, рыбонька, со смерти пани, словно мне руки пообрубали. Ничего, ничего! Хочется мне молиться и дремать, а иногда пла-

кать, для работы не найду себя, потому что это из сердца идёт... а там у меня высохло. Ещё должен был бы даром другую комнату для старой Марты нанимать – за эти деньги кто-нибудь другой лучше тебе услужит, чем я, сердечко, не погибну я на виленской брусчатке... будет только на одну нищенку больше у августиинцев.

Станислав напрасно её уговаривал, Марта была непоколебима и не дала ему себя проводить, осталась на ступеньках дома, который покинуть ей было ещё тяжело, так уж к нему приросла! Ох! Старому переселяться на старость – тяжкая это вещь, болезненная!

Шарскому тем временем, брошенному среди улицы, пришло в голову искать дешёвую комнатку в бывшем своём жилище на Троцкой улице, и, сложив немного вещей, на проезжающей дрожке потянул к дому пана Горилки.

Не без причины он догадался, что во время вакаций пустые комнатки будут очень доступны; к своему удивлению, проехав даже ворота, не застал тут ни Герша на часах, ни хозяйина.

Войдя в дом, он повсюду нашёл странную пустоту.

– А пан Горилка? – спросил он проходящего мальчика.

– Он в своей комнате.

– Тогда позови его мне, прошу!

Мальчик с криком полетел, для развлечения в путешествии пробегая по всем балясинам галереи рукой, которая по ним стучала, как по клавиатуре бесструнного фортепиано, и очень красный, в кармазиновой своей некогда ермолке показался живо выбегающий хозяин.

– А! Не изменяют ли мне мои глаза! – воскликнул он, прикладывая ладонь ко лбу. – Это старый знакомый, смею сказать, друг дома... Как поживаете и что тут делаете? Не нужна ли комната?

– Как раз её ищу, – сказал Шарский.

– Честный человек сразу к знакомому тянется! – воскликнул старик, щупая карманы куртки. – Эй! Малгората, Антошек, Климец! Давайте ключи, где ключи?

Задымлённые служанки и потрёпанные слуги прибежали на зов, а пан Горилка, уже оживлённый мыслью, что иметь будет жильца, начинал ругаться.

– Кто из вас похитил мои ключи? А ну, бездельники, разини... тут такой достойный пан, честный, старый знакомый человека.

Говоря это, пан Горилка шибко сбежал со второго этажа и, снимая шапочку, обнял своего бывшего жильца.

– Ну! Как же? Слава Богу, университет закончил, поздравляю со степенью! Какую вы хотите комнату? Две, три или четыре? Дом устроил теперь лучше, слово чести, как у Подбипяты... вы сами увидите, я ничего не скажу. Заново покрашенный, самая большая элегантность, мебель! Герш! Где эта шельма Герш? Этот негодяй спит только! Пьёт... он пьёт! Даже нос имеет красный! А ключи? А! Наверное, у жены... иди-ка, Климец, потихоньку к жене!

– К какой жене? – спросил Станислав. – Однако же вы расстались со своей женой.

– Да! Да! Что-то было, было, – сказал, поправляя шапочку, Горилка, – но это залаталось. Вы видите, всё это пришло через людские языки. Выдавали, что она якобы сбежала с гусаром; между тем, что видно? Что-то вполне другое! У неё был в драгунах дальний родственник и с ним она ездила проведать свою родню... вернулась! Вернулась, слава Богу! Мы живём в святом согласии. А! Что это за женщина, пане! Какой она сразу навела порядок в доме! Меня бы одного на это не хватило. Вы увидите, что это теперь за куколка – Отель Корнеля Горилки. А из-за слухов и людской зависти я чуть не разошёлся с самой лучшей женщиной.

Говоря это, достав, наконец, потерянные ключи, хозяин машинально открыл именно тот покойчик, в котором Шарский изначально стоял с Базилевичем. Действительно, теперь он имел лучший вид, свежее вымытый пол, окрашенные в золотые и голубые полосы стены, канапе, покрытое хлопчатой тканью, и плевательница в углу. Тут сразу показался ему хозяин.

– Вы видите, – есть даже крашарка (так он её называл) и она об этом помнила. Вот! Какая это женщина!

– Но кровати нет, пане Горилка.

– А канапе? Чистый выигрышь, ночью на нём спите, а днём сидите... полный салон. На что молодому кровать, пожалуй, чтобы тучность прибавляла.

Торг скоро окончился и Стась снова разместился на старой своей квартире.

* * *

Но Вильно казался ему теперь таким пустым! Нигде не встретил знакомого лица, потому что даже семья Цементов поехала в деревню; профессор Иглицкий выехал куда-то за город, а Ипполит направился в Ковинское подышать воздухом долины над Неманом. Оставшиеся жители имели заspanные и уставшие лица; в кофейне «Под св. Иоанном» никого, даже Кристалевич, не пьяный, и оттого более бледный, едва когда со своим гранатовым фраком показывался в свете. Станислав блуждал с Троцкой на Немецкую улицу, с Немецкой на Лоточек, возвращался к себе и за работу браться не хотел – так его одиночество тяготило.

Тишина дневная, тишина ночная, которую только прерывал жалобный звон костельных колоколов, утомляла его своей непроходящей долготой, а это состояние души, возвращая его к воспоминаниям детства, рождало тоску по нему, по дому, по тому тихому литовскому уголку, в котором родился. В начале было это только какое-то желание, но вскоре стало горячкой, непреодолимой жадой, необходимостью деревеньки, полей, лесов и воздуха, полного испарений зелени, такого отличного от атмосферы города и приносящего с собой столько мыслей, сколько аромата.

Продажа движимого имущества, которого Шарский принять не хотел, была произведена старанием Пальского, а тот почти силой полученные деньги и несколько мелких предметов, сохранённых как памятки, вручил Стаю. Это дало ему возможность подумать о бедном путешествии в родные стороны.

– Почему бы мне, – сказал он сам себе, – не пойти туда, посмотреть, поплакать, увидеть их, может, издалека и снова вернуться к работе? Это путешествие освежит меня, разобьёт тоскливые мысли и вернёт моё здоровье, ведь Брант велел двигаться.

На следующий день, охваченный этой мыслью, пошёл ещё Шарский проконсультироваться с доктором, исповедуя ему всю свою историю.

– Хочешь туда поехать, – сказал, подумав, доктор, – гм! Это несомненно лучше, чем сидеть тут и грызть себя воспоминаниями, лучше... впрочем, попробуй. Молодому и движение, и смена места потребны, старому только это грозно... но у тебя есть, с чём двинуться?

– Думаю, что обойдусь не многими вещами, – ответил Станислав, – и научился не заботиться об удобстве... вы принудили меня взять те деньги бедной Дормундовой.

– Скажи лучше – твои собственные, потому что ты их больше для неё потратил, чем тебе пришло с продажи этого хлама... Иди, иди, но возвращайся, а возвратившись, явись ко мне.

Говоря это, он сердечно его обнял, задумался и остановился.

– Но, но, – сказал он, – слушай-ка, в которую же сторону пойдёшь? Потому что я имею там на Литве каких-то захудалых родственников.

Станислав произнёс ближайшее местечко.

– Как раз! Где-то там живёт мой старый приятель и кровный либо сын его... ты не слышал что-нибудь о Плахах?

– Плахах? Я что-то припоминаю... это недалеко от Красноброта, граничат с нами, имеют частичку в Ясинцах... но я их не знаю.

– И не удивительно... хоть это мой родственник по матери, но, старик, сказать правду, несносный чудак... с этим всем я должен дать тебе письмо к нему или к сыну... Отец, я сомне-

ваюсь, чтобы он ещё жил... но сын, который пошёл по следу отца и одичал на деревне, в Ясинцах, наверно, сидит. Будь у них и отдай ему моё письмо... сегодня тебе его пришлю.

Выйдя от Бранта, Шарский направился к костёлу августинцев, где надеялся найти Марту, которой хотел доверить присмотр за своими вещами и комнатой. Он застал её медленно плетущейся улицей по тратуару.

Она уже полностью имела одежду и выражение лица нищенские, саквы, палку и тот вид одежды, которая состояла из каких-то неопределённых кусочков, неопределённого фасона и непонятного цвета.

Она удивилась, слыша, что её кто-то зовёт по имени.

– А! Это ты, моя рыбонька! Как поживаешь? Вот видишь, что сделалось с Мартой.

– А я к вам с просьбой.

– Ого! А что же?

– Я еду в деревню.

– В деревню! И, может, думаешь взять с собой меня! – Марта покивала головой. – Что у вас за светлая голова!

– Не думаю вас забирать с собой, но я тут в моём жилище, при одежде и вещах хотел кого-нибудь оставить. Я думал, что Марта мне в этом не откажет.

Старуха пожала плечами.

– Францисканский костёл в трёх шагах, – добавил Шарский.

– Да, но я уже, рыбонька, вписалась на августинскую паперть, а там второй раз придётся ссориться... на что мне это.

– Я за вас заплачу.

– Но оставь же меня в покое, рыбонька! То же мне богач! На одной поле кожуха спит, другой укрывается и рукава имеет для продажи – посмотрите на него. Не выпадает снова, чтобы какая-то нищенка смотрела за вашей комнатой; а что бы люди поведали? Нужно бы придеться, причесаться и мой хлеб выбросить. Вот, оставил бы меня в покое!

– Как вас это недостойно.

– Лучше, рыбонька, комнату оставить, что будет напрасно пустовать, а вещи можешь мне отдать охранять, я их как зеницу ока буду стеречь. У меня есть комната! Что думаешь? Умереть так скоро я не надеюсь.

Станислав, который под этим предлогом хотел обеспечить Марте более лёгкий кусочек хлеба, видя, что ему не удаётся, покачал головой и сказал:

– Когда так, предпочитаю мои узелочки отослать к доктору Бранту.

– Ну вот! Лучше, лучше сделаешь, рыбка! Мне бы, старой, своим углом милосердия не оказал бы, а только беспокойства нагнал бы, потому что я за порог из-за воров не двинулась бы. Да, да, ступай с Богом, сердечко, и пусть тебя Бог благословит. Каждый день говорю здраву по твоему поводу Пресвятой Богородице... одну только, потому что я ещё молиться не научилась и, часто задумавшись, среди молитвы сорвусь, чтобы пенку убрать с горшка, а где там уж горшки! Будь здоров, рыбка!

Попрощавшись со старой Мартой, которая из прямой снова сделалась горбатой, с палкой, медленно потащилась дальше, передвигая ногами, Стась вернулся домой.

Но когда дошло до поиска средств перенестись в околицы Красноброта и прикинуть по деньгам, он легко рассчитал, что на путешествие, возвращение и первое время пребывания в Вильне, прежде чем снова сможет заработать, едва ему может хватить. Таким образом, путешествие нужно было предпринимать очень экономно, не нанимая фурмана, но от местечка к местечку передвигаться на так называемых еврейских дилижансах.

Мало кто знает, что это есть таким громким именем окрещённые нами *eilwagenu*, в действительности доступные для самых убогих кошельков, но также едва их могущие удовлетворить. Каждое воскресенье или понедельник по почтовым дорогам или большим торговым

трактам кружат грузовые экипажи и брички, называемые бродскими или краковскими, перевозящие путешественников, сколько их судьба доставит и сколько сможет влезть, они зовутся дилижансами.

Грузовая бричка – это длинная, бесформенная, на крепких четырёх колёсах покоящаяся будка, покрытая рогожами и огромной холщовой тканью, кое-где залатанная старой клеёнкой, с пристройками по бокам, как бы крыльцами. Много людей и багаж поместиться в ней не может. На высоких козлах сидит возница-еврей, обставленный ещё сумками, которые и тут втискивают, а четыре бедные, но обученные скакать рысью лошади, которых больше поят, чем кормят, тянут этот груз скорее силой бича, чем своей собственной.

Поменьше её, краковская бричка, с выдвинутой вперёд холщёвой будкой, поместить, однако же, может до десяти особ, расположенных разным образом и старательно вынужденных держаться от падения. Эти возы не идут быстро, выходят до наступления дня, два или три раза кони пасутся и пьют почти из каждой лужи, тащатся до полуночи, ночуют или останавливаются в самых дешёвых и отвратительных корчмах, но из города первые четверть мили привыкли идти рысью, а доходят до места назначения, по крайней мере, почти шагом. Трудно посчитать, кто ездит этими бричками: фон путешественников представляют евреи, еврейки и их дети и вообще народ израильский, но рядом с ними попадают и иные путники, вынужденные, хоть медленно и неудобно, малой ценой совершать поездки.

Из Вильна такие брички расходятся по нескольким трактам каждую неделю, согласно расписанию, в воскресенье, но когда не хватает пассажиров, только в понедельник утром или ближе ко вторнику. В заезжих еврейских домах можно о них узнать, потому что постоянно в одни гостиницы заезжают.

Поэтому через Герша Станиславу легко было заказать за десяток злотых себе место в этом виде дилижанса до ближайшего поветового городка. Не зная этого способа путешествия и представляя его себе весьма разукрашенным благоприятными красками, Шарский ожидал найти что-то поприличней бедной еврейской брички. Взглянув на этот холщёвый ковчег, ему сделалось немного неприятно, но вошёл на указанное ему место.

Кони были уже действительно впряжены, но чтобы не бездельничали, прежде чем путешественники соберутся, подбросили им сена, которое они грызли с непридуманным аппетитом. Фурман, подняв полы, с трубкой в зубах и руками за поясом, прохаживался гордо по двору, тем временем не спеша собирались те, которых он должен был перевозить.

Вначале Станислав был один с элегантным евреем, который, было видно, имеет талант и охоту к музыке, наверняка зная, что Халевы и Меербер происходили из израильского поколения, и чувствуя себя обязанным поддерживать репутацию музыкальности своего народа, но за ним притянулись самые разнообразные фигуры: старая еврейка с зелёным ларчиком, который угрожал коленям Шарского, какой-то господин со смердящей трубкой плохого табака, слепой на один глаз, в порванном плаще, с сучковатой палкой, но полный хорошей фантазии, и какая-то молодая и красивая, но потёртая дама, грязная и кашляющая, которой выехать было почему-то чрезвычайно срочно, двое еврейчиков с отцом, едущих за чем-то к раввину и распахивающих без церемонии всех для нахождения себе удобного места; наконец, какой-то господин (номер второй), весёлый, очевидно, пьяный, со скрипочкой и смычком под мышкой. Когда всё разместилось в одной будке, а на козлы сел ещё какой-то оборванец с узелком на коленях, когда каждый втащил сундучок, узелок, подушку, коробку, Станислав едва не задохнулся от давки, духоты и разного рода испарений. Господин с трубкой, не дожидаясь отъезда, начал ругать и угрожать еврею так, что между ними чуть не дошло до поединка на кулаках; еврей бесчестил его по-еврейски; дама что-то мурчала, повторяя одно: «Вот бы его все дьяволы взяли!»; еврейчики пищали, весёлый владелец скрипки, неустанно о ней тревожась, в охране инструмента пинками отбивался направо и налево – но наконец и этот ковчег затрясся, кони тронулись, забренчали колокольчики, бричка, качаясь, потянулась по брусчатке.

Оказалось, что звенящие на дне её железные шины, которых было штук двадцать, так её обременяли, что она едва волочилась. Новый тогда окрик на возницу, но тот, видно, привыкший к ним и опытный, заткнув шапкой уши, не обращая ни на что внимание, махнул бичом над лошадьми и двинулся как глухой, несмотря на жалобы. Только два раза остановились в предместье, чтобы подобрать по одному еврею и втиснуть их обоих в будку, не без нового шума, крика, спора и почти драки, потому что и так была слишком набита. Вместе с первой трубкой Шмула окончилась городская брусчатка, лошади сошли с официальной рыси и скоро перешли на лёгкий малый шаг, наконец лениво пошли по песку.

Шмул, подавая добрый пример, слез с высоты козел и пошёл пешком.

Так началось путешествие, неудобств и скуки которого, ни смехотворность товарищей, ни их оригинальность, ни поле для психологических наблюдений окупить не могли. Станислав также не был в расположении выискивать смехотворность людской природы, а та резко ему представилась с грязной и неприглядной стороны в жидовском дилижансе. Впрочем, каждая из этих личностей имела такими отчётливо выбитыми буквами на лбу свою характеристику, что достаточно было раз поглядеть, чтобы насытить своё любопытство. Неторопливое движение коня, кивание заснувшей вскоре части путешественников, ворчание бодрствующих, споры зажатых тюками, духота, слишком уж близкое соседство незнакомых так в итоге измучили Шарского, что в первом поселении, до которого доехали, он решил искать иной способ добраться до родного угла. Но на больших трактах всё было так дорого, всё было так недопустимо, что после короткого раздумья, привязав небольшой свой узелок к отломанной палке, молодой поэт решил идти пешком, пока хватит его ног.

Таким образом, бросив за собой спящую жидовскую будку, он вдохнул свежий воздух, с радостью меняя давку на одинокую экспедицию, в которой был с собой, мыслью и природой.

Могло ли быть что-нибудь милее, чем эта фантазийная, свободная прогулка пешком после шумной толчеи брички, в которой не было ни удобства, ни даже спокойствия? Станислав мог задуматься над каждым превосходным видом, над каждым живописным явлением, в котором блестел лучик Божьей мысли, понятной и ясной для него. Шелест вечных боров, окружающих тракт, тянущиеся по нему упряжки, возы, люди, оживление этой артерии, по которой протекала жизнь страны, окружённой глухой тишиной умерших пуш, дивно настраивали душу поэта.

На фоне зелени то деревенское кладбище со своим каменным огорождением и плачущими берёзами, то костёлик, высывающийся из середины старых деревьев, то серая деревенька, разглядывающая себя в озерке, то усадьба, белеющая на холме, то с полоской дыма над трубами в кустах залатанная корчма восхищали глаз и тысячные рождали мысли. Были это как бы слова, как буквы великой книги жизни земли, имеющие каждая по отдельности своё значение, а вместе пишущие интересную страницу, в которой око путника читало прошлое, настоящее.

Кто знает? Может, и будущее предсказывало.

Шёл так Станислав до вечера, а перед наступающей ночью задержался в корчме, в которой хозяин его едва соизволил принять. У нас всегда пеший одинокий человек видится подозрительным оком, особенно когда по одежде его годится догадаться, что мог не идти пешком. Дали всё-таки Станиславу комнатку, кусочек свечи и немного сена после нескольких повторенных просьб, потому что в гостиницу заехали кареты каких-то семейств, которые за свой милый грош шумно и широко в ней расхаживались.

Шарский уже хотел уснуть на постлании, которое представляли горсть сена и плащ, когда какой-то знакомый голос из соседних покоев поразил его слух. Станислав где-то в жизни слышал этот голос, хоть чувствовал в нём большую перемену, но его сердце забилося, ища в его преображённых звуках следы того, чем некогда был.

Это был женский голос, в котором уже ни капли чувства, ни отражения внутреннего напева души, ни дрожания сердца не было: холодный, ровный, жемчужный, милый уху, но прерываемый искусственным смехом, выученным, и сам выученный, как песня канарейки. Видно было, что особа, которой он служил, хоть молодая, уже имела застывшее сердце, уже не волновалась ничем, уже мир выпила до дна, ища только в его мути развлечения.

Шарский встал и, взволнованный сразу воспоминанием, упал на колени. Был это голос Адели. По нему одному легко было узнать, легко угадать, что с ней стало с минуты, когда незабудка и клятва обнадёжили молодого человека.

Невольно в уши Станислава попал разговор двух молодых супругов.

Он. Но, *ma chere*, мы не пробудем там долго, *dabord* я деревни не люблю и не понимаю... жизнь *assomante*. *On damuse a ennuyer les autres du matin au soir sous pretexte de salon...* Не наше общество... *cela sent a rouille, cela vous donne des nausées.*

Она. Ты как хочешь, *mon prince*, но я побуду у родителей... Мне там хорошо... освежусь немного деревней, к которой привыкла.

Он. *Ma cherie, cela vous parait ainsi de loin et cest une faut de perspective.* Издалека эта деревенская жизнь есть милой идиллией, когда-то была тебе по вкусу и тебе кажется, что найдёшь прошлые импресии, возвращаясь к давним предметам. *Maisbah!* Увидишь, что то, что раньше доставляло тебе великое удовольствие, сейчас на второй день наскучит.

Она. Это может быть! А! Очень может быть! Как заскучаю, так уеду; но если это будет меня развлекать... останусь, пока нравится.

Он. Не думаю быть ни тираном из комедии (*un tyran de comédie*), ни каким-нибудь завистливым Бартолом, моя любимая Розина... А! Делай, что тебе нравится... Мы поженились не для того чтобы тиранизировать друг друга, но чтобы вести жизнь приятную и свободную.

Она. Я так думаю (зевая). Нужно признать, что эта дорога по пескам и лесам очень скучная!

Он. Потому что, моя дорогая, для людей цивилизованных, попробуй убедить себя в этом, нет ничего, кроме города. Тут по крайней мере жизнь урегулирована (зевает). А! А! Для тебя это делаю, что еду Шарских проведать. Но этой жертвы не требуй второй раз от меня. Добрые, очень добрые люди... но какие деревенские!

Она. Ты забываешь, князь, кому это говоришь.

Он. Ни в коем случае! Но мы должны быть друг с другом на стопе искренности... ведь твой отец...

Она. Ваша светлость!

Он. *Chere Adele*, не гневайся, отдаю ему всякую справедливость, но он деревенщина! Кто поселился в деревне, всегда будет ей отдавать. Это не грех всё же, *ce nest qu'un ridicule.*

Она. А я?

Он. Это что-то другое! Ты всё предчувствуешь и отгадываешь. Кто бы понял, что ты воспитывалась в деревне.

Она. Простая вежливость, но на стопе искренности, на которой мы хотели быть с тобой, она вполне не нужна.

Он. Ха! Ха! Как ты составляешь! Как формулируешь!

Она. Смешной человек! Разве женщина когда-нибудь нуждалась в формулировке! *Mais elle est toute formée d'avance*; князь, всё-таки ты должен знать, что из лона природы (*passer moi la comparaison*) мы выходим полностью вооружёнными, как Минерва из головы Юпитера.

Он. *Mais vous etes adorable! Quel esprit!*

Она. Князь это только сейчас заметил? Как это для меня лестно!

Он (через минуту). Но возвращаюсь *a mes moutons*, к первому предположению. Например, само это путешествие, с остановками и ночлегами, такими, как сегодняшняя... с такими долгими вечерами в пустыне... представь себе пять, шесть! *mais c'est a en mourir!*

Она. Это уже на стопе искренности сказано; скучаешь со мной и признаёшься в этом открыто.

Он. Согласись, что совсем не скучая с кем-то, можно, можно... *mais enfin, vous comprenez,* можно чего-то больше или иное пожелать...

Она. *Prenez garde,* могла бы и я это использовать в свою защиту! Князь, ты бы, может, предпочёл пани Ф. или панну В.

Он. А ты пана Владислава или Юлка.

Она. Кто это знает? Кто знает? *C'est possible.*

Он (целуя ей руку). *Allons, allons, sans rancune,* доброй ночи.

Такой странный, сухой, ужасный, как та старая рисованная смерть, светящаяся нагими рёбрами, невольно выслушал Шарский и заплакал над ним.

– А! Боже! – сказал он в духе, опускаясь на колени, как на молитву, со сложенными руками. – Для этого ли Ты дал молодости сокровища чувств, такой волшебный рассвет, такой высокий полёт, такие крылатые надежды, чтобы в несколько минут с прикосновением к действительности всё это, всё до последнего сторело, свалилось в грязи, поросло сорняками? Эта ли моя девочка-ангелочек? И те ли это уста, что мне улыбнулись в жизни раз улыбкой, нестираемой до смерти? Тот ли это идеал, перед которым я потратил бы года в созерцании и восхищении! О! Человек жалок, жестока натура людская, наши надежды достойны милости, одной ногой висящие над завтрашним днём – пропастью! Можно ли так измениться, забыть себя, переделать и упасть так низко?

Глубокая тишина отвечала на эти горячие вопросы безумца, весь мир и людей видевшего в свете своего воображения... от тоски он опустил тяжёлую голову и упал на убогое послание.

* * *

На следующий день, прежде чем панские кареты выехали из гостиницы, уже пеший наш путешественник с палкой в руке брёл дорогой у лес, пытаясь доказать себе правду, в которую ему поверить было так трудно, что люди каждые несколько лет, каждый год, может, как змеи, сбрасывают одну свою кожу, чтобы переодеться в другую. Он не мог понять жизни, два конца которой не спаивались друг с другом, не соединялись, не были логичным продолжением; он не понимал песни, начатой вздохом и слезами, а оконченной смехом и зеванием.

Такую песнь мы всё-таки поём все хором... и как каждый в жизни имеет минуту рассвета, в которой ему Бог позволяет быть красивым, так каждый имеет час поэзии, одно мгновение... хоть мало кто умрёт с красивым лицом и поэзией в душе.

Шумели леса, пели птицы, Стась не спеша шёл своей дорогой, то присаживаясь на поваленные деревья, то отдыхая на перепутьях, то задумываясь над пейзажами, какие растлались по кругу. Каждый из них живо напоминал деревню, молодость, родной уголок.

Сердце его билось и жаждой, и страхом – он приближался к своему двору и почти боялся его увидеть, чтобы души не выплакать.

Миновали его княжеские кареты, промелькнуло перед ним бледное личико Адели, спящей в карете и с великим очарованием прижавшейся к подушкам. В ту же сторону бежали оба, но с какими разными мыслями! Он только за воспоминаниями, она – за триумфами тщеславия. Двоих детей, недавно искренно влюблённых друг в друга, теперь разделял целый мир разнообразных преград, границ и заборов.

Что от того, что сердца могут забиться, вторя друг другу, когда ни уста проговорить, ни руки сблизиться уже не могут!

Промчались кареты и мысль полетела за ними в свет, в широкий свет!

Но, видно, было предназначением путника испытать в этой короткой экспедиции самые разнообразные впечатления и встретить самые неожиданные голоса, которые взволновали бы его надолго, оставляя после себя нестераемые воспоминания в душе.

Вечером снова, ища в городе гостиницу, он наткнулся на еврейский дом, в котором карета и бричка свидетельствовали о прибывших перед ним путниках. Отгораживали его от них снова только неплотные двери жидовской клетки, поделённой на тесные комнатки, чтобы при случае гостей могло поместиться как можно больше, хотя бы очень неудобно. Услышав рядом женский голос, незнакомый ему, но полный очарования, Стась, припоминая себе вчерашний ночлег, упал на твёрдое ложе, не желая подслушивать соседей, боясь подхватить слова, которые бы его снова ввели на дорогу отчаянных жалоб. Он накрылся с головой плащём и пробовал уснуть, но сон отлетал от него, грустная мысль уносила его на своих крыльях в незнакомые края, наконец, разбуженный, он начал мечтать, не заметив, с каким удовольствием волновал его звук чистый, гармоничный, как песня, весёлого девичьего разговора.

Из мрака непонятных звуков, улыбок, слов, наконец выплыла какая-то гармоничная песнь... что-то, как бы тихое пение, размеренное, которым говорила полная музыки и поэзии душа... Кто-то рядом громко читал и – о! к удивлению! страху! радости! – Станислав узнал в этих словах, медленно падающих с невидимых губ, собственную мысль, своё детство, это «Прощание с домом», которое писал кровью и слезами.

В первые минуты он дал унести себя восторгу восхищения этими звуками почти с чувством гордости, он рос, поднимался – но когда в голосе незнакомки сильнее зазвучала душа, зазвучали серебристые слёзы, застонало сердце – из его глаз покатались слёзы.

Он чувствовал, что, пожалуй, Бог хотел вознаградить ему вчерашнее сегодняшним и снова белым краем занавеси накрыть этот чёрный саван, который ему всё заслонял.

– А! Мама, – отозвалась девушка. – Как это красиво! Как он, должно быть, чувствовал, чтобы так написать!

– Дитя моё, – ответил более серьёзный голос женщины, – не знаю, не знаю, то, в чём ты чувствуешь сердце, стало ли обязательным его делом! Поэзия, мой дорогой ангел, есть в тебе, тот, кто её создал, мог быть холодным, но ты, читая, согрела её чувством молодой души.

– О! Нет, нет, матушка, – прервала девушка, – фальш почувствовалась бы сразу, выдало бы его слово, открыл бы себя одной дрожащей нотой – зашелестел бы в них мороз... я чувствую, что он страдал!

Стась хотел вскочить, бежать, упасть к ногам незнакомки и благодарить её, что поверила в истину его слов; но он быстро опомнился, посмотрев на свою убогую одежду, на бледное лицо, на странную фигуру свою.

– Пусть тебя Бог за это наградит! – сказал он в духе. – Пусть тебе эту минуту, первую в жизни моей и, наверно, последнюю, чистого восторга, ангелы отнесут на другой, лучший, свет в венце заслуги. О! Потому что голос сочувствия одного сердца утешает за тысячи насмешек.

Только какой-то ропот, и ничего больше слышно не было. Стась боялся вздохнуть, сделать движение, чтобы не пропустить слова, но только какой-то трогательный смех, серьёзный, и шёпоты доходили до него, а в них чувствовались материнские ласки, ласки ребёнка и какой-то аромат родительской любви, светлой, невинной, полной самоотверженности и отречения от себя, которые доходили даже до него. Шарский не мог сдержаться, чтобы не бросить взгляд на картину, которая была перед ним... хотя объяснял себе почти как святотатство, что смел её коснуться взором. И сквозь щель, в свете огарка, увидел совершенно фламандскую картинку.

Уже немолодая женщина, мило улыбающаяся, но вместе грустно задумчивая, задумчивостью возраста, который из самой чистой радости создаёт предчувствие грусти, сидела за столом; на её плече покоилась голова девушки с опущенными глазами, красивенькой как ангелочек, расцветшей, размечтавшейся, Бог знает, о чём, Бог знает, о ком.

Это сонное явление Шарский увидел только мельком и, не смея напиваться им дольше, ушёл на свою сиротскую подстилку. Через мгновение послышалась тихо напеваемая песенка... и шорох молитвы, и вечернее благословение... и молчание, чёрное, как ночь.

На следующий день путешественник встал до наступления дня, чтобы не утратить видимости этого лица, с образом которого так блаженно уснул, выбежал на дорогу, остановился как нищий, опираясь на палку, и ждал, пока выйдет незнакомка. Он увидел её весело улыбающуюся утру, с открытыми на чудесный день голубыми глазами, сияющую, премилую... но едва мимолётным взглядом коснулась его равнодушная, и экипаж поехал дальше. Сначала Шарский пробовал ещё что-нибудь выведать о проезжих от людей, расспрашивал еврея, но люди шуточной отделались от путника, а еврей, испугавшись его настойчивости, пожал только плечами и замолк как камень.

Много раз так в жизни пролетит мимо нас счастье, улыбнётся, а! и не догнать его больше. К полудню на больших песках под Л. изнурённый походом поэт из последних сил добрался до гостиницы, когда снова медленно, как он, ехавшие по дороге экипажи обратили его внимание.

А так как в этом месте и пешие, и всадники, объезжая холм, должны были продираться узкой лесной дорожкой, Станислав имел время присмотреться к людям, которых кропотливо перемещали нанятые еврейские шкафы.

В этом таборе, полном поклажи, тяжестей, узелков, было что-то очень смешное. Главный экипаж выглядел как бочка сельди, так был переполнен людьми, а за ним ещё, дрожа на сумке, высоко поставленной, со свешенными ногами, ехала заспанная девка в сером кубраке. За кочиком шла бричка, так же набитая, и нагруженная телега, под которой звенело оловянное ведёрко. Стась немало удивился, увидев среди громады голов в коче хорошо знакомое ему лицо Базилевича, но, видно, не менее удивлённый, давний товарищ вскрикнул, когда вдвое повернувшись для осмотра пешехода, узнал в нём Шарского.

Выкрик Базилевича испугал громаду детей, разбудил родителей, повернул головы слуг, а подоляк, пользуясь замешательством, вырвавшись из давящих его разного рода фигур, выскок на песок, спеша к Станиславу.

– Что это? Что с тобой? Куда ты идёшь?

– Как видишь, в мои стороны! Ты пешком шёл, я возвращаюсь пешим, вот вся разница; я тогда не удивился, сегодня ты не удивляйся, прошу.

– Но, ба! Совсем что-то другое – идти, и что-то иное – возвращаться, – ответил Базилевич, делая гримасу от этого воспоминания. – Цыц! Тише.

– А ты куда едешь?

– Я на вакации с очень достойным домом Клапцов, как раз в ту же сторону; мы уже только в паре миль от дома. Я на какое-то время взялся за воспитание этих нескольких сморчков, которые там из будки выглядывают... Но, – добавил он по-фанфаронски, – больше делаю, чтобы подышать свежим воздухом, чем из иных поводов. Ты должен знать, что подкоморий Клапец богатый человек... говорят о нём, что если поживёт, до миллиончика доедет; дочки будут иметь по полтора... мне кажется, что старшая даст себя распозитизировать, – рассмеялся Базилевич, – я мог бы жениться, хотя, между нами говоря, я ожидаю чего-то лучшего... Но я также еду на деревню, чтобы немного поработать, у меня масса идей... поэма, комментирую «Фауста» Гёте и «Луизиаду» Камоэнса... с возвращением в Вильно издаю собрание старых поэтов, которое мне должно сделать неплохую суммочку, я уже это рассчитал. Билеты идут, потому что я их отлично умею распространять: ругаю тех, кто не берёт из холодности к литературе... ты не поверишь, что это за гибкая и добрая тема для декламации и какими плодами за небольшое изнашивание рта оплачивают. Ну! Ты не говоришь мне о себе... почему идёшь пешком?

– Потому что коня нанять не на что, а ноги бесплатные, – грустно сказал Шарский.

– Это дивная вещь – как ты бедно выходишь с твоим талантом, потому что ты всё-таки имеешь разновидность таланта! Может, в чём нуждаешься, говори, хотя, на самом деле, в эти минуты я голый! А подкоморию я не хотел бы сделать неприятность.

– Будь спокоен, – шибко сказал Шарский, – и ни в чём не нуждаюсь, и всего хватает.

– Впрочем, – добавил подоляк, – с другой стороны это принимая, я даже завидую тебе в этом путешествии, это даёт мысли.

– Но немного силы отбирает.

– Ба! А молодость! – и начал декламировать:

«Молодость! Ты на горизонте...»

Затем лысая голова в итальянской шапочке подкомория Клапца высунулась из кареты и начала крутить носом при виде Базилевича, который с простым каким-то *per pedes apostolorum*² идущим человеком разговаривал запанибрата. В том потешном лице, в дёргании носа, в прижмуривании глазок и выкрикивании уст, было видно, что ему это было не по вкусу.

– Пане! Пане! – воскликнул он наконец охрипшим голосом, всё больше вылезая. – Мы вас просим, потому что поедем.

Базилевич подскочил и видно было, что очень старался подольститься подкоморию, потому что даже пожатием руки не попрощался со Стасем.

– Ну! А что это за знакомство? – обратился пан Клапец к садящемуся и гнущему ему подагрические пальцы Базилевичу. – Ай! Ай! Что это за человек?

– Это... мой бывший коллега из Академии, особенный чудак! – сказал подоляк, отговариваясь случайной ложью. – Вы бы поверили, благодетель? Человек богатый... очень богатый, а вот так, единственно из смешной фантазии отбывает путешествие один и пешком!

– Человек богатый, говоришь ты? – прервала пани Клапцова, поправляя шапку и поглядывая на Эмильку, свою дочку, некрасивый нос которой должны были исправить полторы столтысячного наследства после очень долгой жизни родителей. – И молодой! И чудак! А как же его зовут? И кто его родители?

– Зовут его Станислав Шарский.

– Одна Шарская пошла за князя Яна.

– Его двоюродная сестра.

– Псс! Это особенный чудак; но кто же его родители?

– Видимо, бароновна von Petersdorf, – отвечал быстро и без запинки Базилевич.

– Когда *dorf*, то, должно быть, из Лифляндии, – добавил подкоморий, – я уже в этом уверен...

– И пешком ходит, пешком! – добросила пани Клапцова. – Может, позвать его на обед на стоянке, чтобы познакомиться, но мы имеем всего полторы курицы и кашку на бульоне, не знаю, хватило бы... Молодой, богатый, – повторяла пани подкоморина, – и родила его бароновна... как, пане Базилевич?

– Бароновна von Paulinsdorf.

– Это какая-то красивая, должно быть, фамилия... А если бы купить мяса для бифштекса, дорогой? – спросила жена задумчивого пана Клапца.

– Если попадётся, и недорого.

– Но даст ли он себя пригласить, этот, как... Фурмансдорф?

– Шарский!

– Да, Шарский... но как недорого мясо купить?

– Кто его родила? – прервала подкоморина. – Забыла?

² Подобно апостолам (*лат.*)

– Баронова von Matthiasdorf, пани благотельница, – сказал отвлечённый Базилевич, болтая, что ему пришло в голову.

– Смешная вещь, что этих чужеземных фамилий невозможно запомнить, – шепнула подкоморина, пожимая плечами.

– И сомневаюсь, чтобы он дал пригласить себя, – прервал Базилевич, – потому что это чудак особенный, скрывает своё рождение, богатство, прикидывается бедняком.

– Лифляндчики... в целом чудак, – воскликнул пан Клапец, – я знал одного, который буквально, пане благотель, ел табак и глотал целые трубочки травы – слуханная ли эта вещь?

– Действительно, – подтвердил полушутя-полусерьёзно Базилевич, – хотя он только происходит от лифляндской семьи.

– А такое чудачество! – с триумфом добросил подкоморий. – Значит, так! Значит, так, лифляндчик есть чудак.

– Вы не знаете, не имеет ли он намерения жениться? – начала расспрашивать Клапцова. Эмилька покраснела.

– Сомневаюсь, – сказал подоляк, – женщинами гнушается!

– Лифляндский чудак! – шепнул подкоморий. – Ничего больше.

– А далеко он остался? Если бы его хоть увидеть? – оглядываясь, спросила пани.

– Уже не видать, – заключая разговор, заверил Базилевич.

– Жаль! Может, хватило бы таки курицы и кашки. Я бы себе велела что-нибудь другое приготовить и подать отдельно.

– А, вы всегда своё! – подёрнул плечами пан подкоморий, немного нетерпеливый. – Где? На что? Для чего?

И не желая при чужом объясняться ясней, пан Клапец замолк, только резко возмущившись.

Пани подкоморина также замолкла, а панна Эмилия начала украдкой выглядывать за карету, за которой, однако, ничего видно не было, кроме брочки, песка и соснового бора. Станислав остался далеко.

* * *

Не знаю уже, на который дня своего путешествия, иногда пересаживаясь на холопские возки, разговаривая с подвозящими литвинами, то снова волочась пешком или подвезжая на возвращающихся почтовых лошадях, словом, добираясь, как мог, к своей стороне, Станислав наконец узрел знакомую околицу и, испуганный, остановился при виде Краснобрда, не в состоянии направиться прямо к родителям, осуждённый на приветствие их только мыслью издалека.

Вдали темнели заросли, лесок, крыша усадьбы, старая водяная мельница, костёлик и две знакомые трубы; тихий угол выглядел ещё так, каким Станислав приветствовал его, возвращаясь из школы, ничуть не изменившимся, тот самый, так, что он узнавал и считал окружающие деревья, приветствовал верхушки старых лип, а ничего, ничего не свидетельствовало о нескольких ушедших годах!

Ближе к Краснобрду Шарский стал искать средства приблизиться к нему так, чтобы мог видеть, не будучи виденным. Сначала думал захватить в корчму, но еврей донёс бы о нём в усадьбу; хотел потом осесть на время в соседней деревеньке, но и там непременно узнали бы его проходящие из Краснобрда люди; наконец он вспомнил про письмо доктора Бранта к пану Плахи и решил ехать прямо в Ясинцы.

Ясинцы отделяли от деревни пана судьи только болота, заросли низких гущ и длинный брод, от которого это место взяло название; именно через него шла граница двух имений, обозначенная двумя большими мшистыми камнями, веками вгрызавшимися в песчаное дно

болот. Станислав не знал Плахов, потому что спор о границе, предпринятый прадедами, разнил две семьи, а старый Плаха и молодой считались чужаками, не бывали почти нигде и видели их только в костёле и на гражданских съездах. Шарский о них что-то слышал, но не много мог из этого заключить, и, вслепую везущему его мальчику велел повернуть в Ясинцы, доверяя письму доктора, а, скорее, помощи Провидения.

Нужно было проезжать через краснобродскую землю и Стась с глубоким волнением увидел себя на знакомом кусочке земли, приветствуя придорожные кресты, старые камни, каждое поле, каждое дерево.

Была минута, когда из-за маленького пригорка показался двор усадьбы, среди которого он мог заметить особ, ходящих по нему, посчитать здания, осмотреть весь Красноброд – и сердце его начало всё яростней рваться к отцу, к матери, к братьям, но повернуть туда не мог!

Такой грустный, проехав заросли, болота, улицу, усаженную канадскими тополями, и маленький дворик, он остановился перед усадебкой, которая выглядела едва ли немного приличней простой крестьянской хаты.

Видно в ней было жилище шляхтича, который не заботится о великолепии, потому что должен работать на хлеб в поте лица, но в то же время при бедности чувствовалось хорошее управление и относительная зажиточность, потому что этот двор, эта маленькая усадебка, всё это вокруг было аккуратное, чистое и старательно поддерживаемое. Крыльцо, заколоченное по кругу досками, с лавками у стен, предшествовало домику, и, вышедший перед ним Станислав, высматривал, к кому бы направиться, чтобы найти пана, когда мужчина лет тридцати, с трубочкой во рту, вышел из боковых дверей и встал на пороге. Была это фигура высокая, плечистая, сильная, с загорелым лицом, с тёмными обильными усами, наполовину солдатская, наполовину шляхетская, что-то от охотника и хозяина, тип, каких сейчас немного, потому что не женоподобный ещё.

При виде бумаги, потому что Станислав сперва начал доставать письмо, хозяин нахмурился и принял пришельца за кого-то, живущего с перьями и чернильницей, а так как он гнушался писаками, отступил аж к порогу. Только повторный взгляд на молодого человека, полное мягкости и прелести лицо которого пробуждало доверие, склонило его остаться и приблизиться к гостю.

– Простите меня, – сказал Станислав, – что злоупотребляю правами гостеприимства, но мне придало смелости и привело письмо вашего родственника, доктора Бранта.

– А! Значит, вы не посланец! – воскликнул, смеясь, хозяин. – Извините, но я так бумаги испугался, думая, что, упаси Боже, палитра какая. Письмо от Бранта! Ей-Богу, это чудо! Лет десять добряк нам буквы не написал. А! Смотрите, и к моему отцу адресует, когда тот три года в могиле покоится! Позвольте мне, пан, бросить взгляд на письмо, может, узнаю, чем могу вам служить.

Говоря это, хозяин, поискав свет, начал с довольно видимым трудом читать по слогам письмо, вынув изо рта короткую трубочку, и не без работы и пота дошёл как-то до конца. Он живо подал грязную руку Шарскому.

– И без письма, – сказал он, – всегда убогая хата шляхтича открыта и рада гостю. Войди внутрь, пан, прими, что есть; изысканности не найдёшь, достаток посредственный, но сердце – искреннее и доброе. Прикажи, пан, сразу сносить вещи, отправь слугу и без церемоний распологайся, ты у холостяка... Нас двое на усадебку, аж широко нам будет.

Как-то так резво началось знакомство, а Плаха придал гостю столько смелости, что Шарский постепенно набрался отваги, надежды и, переступив порог бедной усадьбы, почувствовал себя, словно приплыл в порт, – мог немного отдохнуть в не совсем уже чужом доме. Внутри, также как снаружи, хата была чистая и приличная, в которой утончённость и ум не были в избытке, но, несмотря на это, свободно и весело было в ясных, белых, освежённых комнатах. В первой – каминчик, синяя кафельная печь, стол со скатертью, удобная софа и на стене

портрет князя Ёзефа, а рядом – флейта и скрипка, были всем её украшением; с другой выглядывала кровать, сундуки и запасы, холостяцкие, охотничьи и фермерские.

– Но как же там поживает достойный Брантиско? – спросил Плаха, посадив гостя. – Мало я его знаю, но знаю, что это достойнейший человек. Как ему там живётся всё-таки?

– Как всем достойным людям... не очень хорошо идёт, потому что о том не очень стараются. Но конец концов, есть кусочек хлеба и любовь людей... Когда-нибудь к вам сюда выберется...

– А! Конечно, как собирался писать – отвечал, смеясь, Плаха. – Прежде чем надумает и упакуется, мы и дети наши поумираем! Но что в этом странного? Где кому хорошо, пусть сидит! Даже, что не пишет, и этого ему за зло не имею, потому что я сам знаю как это тяжело – взяться за перо! Не раз четыре недели на бумагу собираю, плюну в итоге и откажусь... бумаги терпеть не могу, а чернил, не знаю, найдётся ли в доме капля. В последний раз я посылал даже к арендатору Мошке за чернильницей...

Говоря это, достойный литвин с весёлой улыбкой присел к гостю, положил руку на его колено и с добродушием потихоньку спросил его:

– Что же вас сюда привело?

– Что? Госка! – сказал весь охваченный волнением Станислав.

– Будем искренними, если мы должны быть приятелями, – сказал спустя минуту Плаха. – Доктор мне там что-то пишет, но я не очень понимаю... это умершие слова; скажи мне, пан, это живыми... Как же? Ведь ты Шарский? Мы кое-что слышали о твоих приключениях... Хочешь увидиться с родителями? Извиниться перед отцом? Прости навязчивость, но я простой человек и, говоря, рублю, как думаю.

– Я вам всё расскажу в нескольких словах, – отозвался Станислав со слезами на глазах и голосе. – Я виноват против отца, потому что его не слушал; пошёл по своей воле, не по его, он отказался от меня! Я снёс это как заслуженную кару, но сильно загрустило сердце по своим, хотел хоть увидеть родной уголок... потому что в Красноброд мне не разрешено...

Плаха слушал серьёзно, с глубоким чувством, как только простые и искренние люди умеют слушать... прошёлся несколько раз по комнате...

– Сердце себе растрaviшь, – сказал он, – глаза не выплачь напрасно... не будем говорить больше... Честное чувство привело тебя сюда; Бог его благословит, может...

И он подал гостю руку.

– Помни, пан, помни! Мой дом – твой дом! Хозяин со слугами к твоим услугам, распоряжайся нами... искренне прошу...

– Не знаешь, пан, что делается в Красноброде? – спросил, поблагодарив его, Станислав.

– Ничего не знаю. Красноброд для меня как бы в десяти милях. Судья смотреть на нас не может, потому что мы всё по-старому ссоримся из-за границы, впрочем, я ни с кем не живу, не вижу, сижу как отшельник. Знаю только то, что там все здоровы. Судья иногда промелькнёт у меня перед глазами на поле... и только. Но скажи, дорогой пане, с кем хочешь увидиться? Как туда подступишь? Что предпримешь?

– Я! Я сам не знаю, – отвечал Станислав, – издали посмотрю на нашу деревеньку, поплачу, помолюсь и вернусь.

Хозяин задумался, а так как приходила пора ужина, он вскоре вышел им распорядиться, больше думая о Станиславе, чем о нём. Прервался, однако, разговор и вернулся к незначительным вещам.

После тяжёлого путешествия, полного впечатлений, но также труда и неудобств, Станислав под этой соломенной крышей, над болотами, жители которых пели ему песнь, знакомую с детства, легче и свободней вздохнул, благодаря в душе Бога, что позволил ему достать до этой скромной усадьбы, в которой его встретило гостеприимство, изгнанное уже куда-то церемониями.

Приём был простой, убогий, но полный сердца и открытости, украшенный желанием сделать приятное, угождения гостю, которые принадлежали к старым шляхетским добродетелям. Сам Плаха с первого вечера обрисовался ему весь как на ладони, а не был это, несмотря на видимость, обычный человек. Душа полна поэзии, голова полна мысли, сердце, переполненное чувством, но это всё предоставленное само себе самым удивительным образом своими силами образовалось. Плаха едва окончил три поветовых класса и, нетерпеливый, вернулся к деревенской жизни. Самыми излюбленными его занятиями были фермерство и охота, и жизнь под голым небом среди крестьян; самым любимым приютом – собственная хата, тёплая, тихая, в которой мог делать, что захотелось, одеваться, как было удобней, и говорить, что думал. Не терпя принуждения, притворства и церемонии, он не мог согласиться с более дальним светом, который всегда требует некоторых жертв, не думал также в него пускаться и был доволен сам себе.

Несмотря на полнейшую темноту в научных предметах, Плаха был поэтом, расположение имел мечтательное. Целыми вечерами заслушивался сказками и народными песнями, играл на скрипочке песенки и сельские танцы с огнём и диким акцентом, но полных характера, а неиспорченный сердцем, счастливо проводил дни в сфере, в которой чувствовал себя как рыба в воде, и так был рад своим положением, именем и жизнью, что не променял бы их ни на какие другие.

Великий охотник и любитель природы, он значительнейшую часть дня проводил с ружьём в поле, в лесу, то слушая пение птицы, то присматриваясь к обычаям дикого зверя, то наслаждаясь видом околицы, которую любил больше всего.

Людьми не брезговал, как пером, бумагой и книжкой, но без них легко обходился, а в отношениях искал свободы и превыше её ценил. Постоянно общаясь с природой, с живой песней и живой поэзией, не удивительно, что произведений искусства не понимал и не любил их. Говорил, что ни одна поэма не стоит народной песенки, напеваемой на поле в сопровождении ветра, жаворонка, весеннего аромата и солнца, и ни один роман не может идти в соперничество с простой сказкой, рассказанной при лучине на ужине.

В доме, крома календаря и «Золотого алтарика» также не имел ничего печатного и почти забыл как писать и читать, так оба эти занятия выводили его из терпения и мучили.

– Что же там может быть в книгах? – сказал он сразу в первый вечер Станиславу, видя их несколько в его узелке. – Что там может быть, чего раньше не было на свете живым, в живой речи? Это только засушенная зелень, без цвета и запаха! Нужно ещё угадывать, как были нарисованы и чем пахли при жизни. У меня поэзия, пане, это, когда на похоронах сердце мальчика сводит горем, что у меня и слёзы добудет и грудь разорвёт, поэзия, когда среди свадьбы слышится извечная песнь караваю, когда на лане хором застучат жнецы... а ваше это всё подражания! Хо! Хо! Далеко им до оригинала! И музыки также для меня нет, чем деревенская и простая, это хлеб, что кормит, а ваши штучки уже водка дистиллированная, которая опьянит, но не подкрепит.

Таким был пан Плаха. Встреча с этим странным человеком, которому, несмотря на умственную одичалость, нельзя было отказать в великих качествах сердца и головы, принадлежало к наиболее занимательным событиям путешествия Станислава и произвело на него неожиданное впечатление. Этот свежий ум, не начинённый наукой, не искажённый невольным подражанием, часто сверкал совсем неожиданными и самостоятельными лучиками, в которых видны были энергия духа и сильное клеймо, вытесанное на нём привязанностью к своей земле, углу и ко всему этому волшебному кругу, из которого не выходил. Суждение его было фальшивым от неосведомлённости, от горячей односторонности; но странно отличался своей запальчивостью, простотой, силой, от бледных, обычных, несмелых и стёртых мнений общества. Он всё принимал с поэтической, блестящей, ясной стороны, и взгляд, как веру, имел совсем чело-

веческий... принимал от народа, с которым жил, страсти, недостатки и добродетели, его поэзию и дух.

Вдобавок, что его в этом состоянии одичалости навеки должно было приковать – это несчастная любовь к простой деревенской девушке – ему не хватало ещё немного отваги, чтобы на ней жениться, а уже отпустить её не мог. Горпина давно как пани приказывала в усадьбе, правая сторона которой принадлежала ей, и нянчила уже на руках двухлетнего ребёнка. Плаха, борясь с собой, сам не знал, на чём закончить, но любовь перерастала в привязанность и привычку, вселялась в его жизнь. Может быть, что, кроме иных поводов, отталкивающих его от света, и это его положение становилось препятствием к выходу в общество, поглядывающее кривым оком на то, что смеет слишком ясно и смело показываться перед ним, и не считается с его законами, кажется, вызывает, вместо того чтобы просить прощения. Не идёт тут речь о самом проступке, скорее о форме. Плаха должен был с ней жить, и так как все знали о его любви к крестьянке, и хотя эта девушка была и благодарна, и достойна, и привязанность к ней вскоре должна была быть благословлена костёлом, как же шляхтичу простить женитьбу на простой холопке. Пренебрегая теми, с которыми не мог быть в нормальных отношениях, Плаха часто на простой колымажке рядом с Горпиной ездил на праздник в приходской костёл и не стыдился её, специально показывая, что насмехается над людскими языками, но также с тех пор, как пару раз выбрался с ней на богослужение, никто уж про него не наговаривал.

На второй день пребывания в Ясинцах Шарский почувствовал себя таким сломленным и слабым, что был вынужден только через окно своей комнатки поглядывать на красnobродский двор, а хозяин, видя его утратившим силы и почти больным, не позволил ему выйти ни на шаг. Сделал даже для него ту жертву что сам просидел с ним взаперти весь день, и через несколько часов так хорошо они узнали друг друга, как если бы целый век прожили вместе. Оба не умели скрывать, хотели выговориться, таким образом, взаимно поверяли друг другу приключения, чувства и мысли. Плаха, не привыкший к такой приятельской компании, по-прежнему был глубоко взволнован, а на его глаза неустанно наворачивались слёзы, сжимал руку молодого человека, но когда у него просили совет, ничего найти не умел. Совет его ограничивался такими простыми и так резко ведущими к цели средствами, что Стась воспользоваться ими не мог.

На следующий день тоска, которая пригнала сюда Шарского, вывела его под вечер из дома, он вырвался и пошёл один в поле. Через болото и брод были мостики, которые позволяли их пройти не замочив ног, а, раз очутившись на той стороне, на собственной земле Стась не нуждался в проводнике. Вдохновлённый чувством, он побежал знакомой дорогой прямо к красnobродскому двору. Только, когда он приблизился к нему на стаю, когда живо предстал перед его глазами суровый отец, задрожали под ним ноги, закружилась голова и он должен был сесть на край рва. Тут, погружённый в мысли, просидел бы, может, всю ночь, поглядывая на деревья сада и трубы усадьбы, крыша которой покрывала всю дорогу ему семье, если бы сильный голос не зазвучал над его ухом:

– А кто это! Что ты тут делаешь?

По хрипению и соответствующему акценту испуганный Шарский узнал немного подвыпившего Фальшевича, который возвращался из корчмы арендатора, но, так как было запрещено давать ему водку, еврей никогда полностью его не поил, знал меру его головы и кватеркой удовлетворял негасимую жажду.

Фальшевич, часто используемый для хозяйства и в некоторой степени обязанный следить за порядком в деревне, приблизился к сидящему и, при блеске вечерней зари узнав Станислава, вскрикнул от удивления:

– А что ты тут делаешь? Иисус Христос!

Станислав встал, смущённый.

– Видишь, – сказал он, – смотри на дом и плачу.

– А! Если бы пан судья узнал... смилуйся, пан, беги! Счастье ещё, что лежит больной!

– Больной? – воскликнул сын, ломая руки.

– Э! Ничего! Так себе! Ногу немного ушиб. Но ты зачем здесь? Как? Не понимаю, или кошмар, или явление... что думаешь?

– Думаю, что ты скажешь о том, что меня здесь видел, матери, сёстрам, братьям. Я жду в нескольких десятках шагах от них: может, выбегут увидиться со мной... может, меня утешат...

– А! Где я там буду в это вдаваться! – затыкая уши, воскликнул Фальшевич. – О! Если бы судья узнал, тогда бы я выпросил себе беды! Женщины всегда, извините, болтливы, вышептали бы... оставьте меня в покое! Это не может быть!

– И может быть, и будет! – сказал решительно юноша. – У тебя доброе сердце и...

– Конечно, у меня доброе сердце, но и голова ничего, а голова сердце не пустит.

– Только одной матери скажешь.

– Нет, нет, нет, ей-Богу! Иди, пан, себе с Господом Богом и пусть так будет, что я вас даже не встречал и не видел.

– Если мне откажешь, пойду сам к усадьбе.

– Умываю руки! Умываю руки! – сказал Фальшевич. – Не хочу знать, не хочу ведать! Вы знаете, что, если бы судья пронюхал, без церемоний готов бы мне за посредничество дать тридцать плетей, если не пятьдесят.

– Хуже будет...

– А уже хуже быть не может!

Фальшевич начал отступать к усадьбе, но Станислав, узнав от него, что отец лежит в кровати, поспешил за ним по дороге. Учитель, постоянно оглядываясь и видя, что от Станислава не выкрутится, а прибыв с ним вместе, может быть заподозрен в связи, остановился, начал раздумывать, и, посадив Станислава на камень, быстро проговорил:

– А! Лихо мне вас принесло! Сядь, по крайней мере, сюда. Скажу матери и Мани, но больше никому; или одна, или другая придёт. Больше в самом деле сделать невозможно, хоть для родного брата. К усадьбе, пан, уже не приближайся, потому что или собаки покалечат, или люди узнают, догадаются, донесут и беда будет всем.

Стась, убеждённый и сломленный, сел, а, избавленный от горячей опасности Фальшевич, как стрела полетел к дому. Уже начинало прилично смеркаться, когда фигура в белом быстрым шагом приближалась от усадьбы, казалось, ищет в темноте камень, на котором сидел Станислав.

Тот встал и подбежал, но это была не мать, которую он ожидал; была это его старшая сестра, добрая Мания, с рыданием и слезами бросившаяся к нему на шею.

– Стась, дорогой Стась! – воскликнула она. – А! Как ты вырос! Как ты изменился! О Боже! Если бы ты знал, что мы глаза выплакали из-за тебя... а отец и не вспомнит. Уж ему и ксендз, я слышала, с амвона упоминал из текста о блудном сыне, а сердца его сокрушить не мог. Мама, ты знаешь, упомянуть о тебе не может.

– Мама... не придёт? – слабеющим голосом спросил Станислав.

– Нет, мой дорогой, сидит при ложе отца; отец больной на ногу, а теряет терпение и упрекает себя, что лежать вынужден. О! Она бы так хотела увидеть тебя. Но скажи же, откуда ты здесь? Что делаешь? Как поживаешь? Каким случаем в Красноброе?

– Это не случай, – сказал Станислав, – я из Вильны пришёл, пешком, с палкой, специально, лишь бы только вас увидеть.

Тут Станислав начал рассказывать заплаканной сестре всю свою жизнь, и ночь их проскочила среди заверений, вопросов и вздохов; бедная девушка, когда увидела окружающую её темноту, задрожала от страха.

– Я должна вернуться, – воскликнула она, – нужно расстаться. Или нет, слушай: пройдем вместе через сад, провожу тебя до беседки, укроешься в ней до утра, там никто тебя не увидит, а мать выбежит, может, на минуту благословить тебя ещё.

И шли они так вместе к калитке за садом, ведущей на поле, а Стась потихоньку расспрашивал Мани, которая ему с дрожью, сдерживая голос, отвечала, то снова она начинала допрос, а он исповедовался ей в своей жизни.

Мания была самой старшей из дочек судьи и, подобно Стаею, сейчас уже под той строгостью воспитания и работы преждевременно зрелая сердцем женщина. Часто её советами и помощью пользовалась даже мать, потому что, хоть судье никто ни противоречить не мог, ни умолить, Мания иногда умела найти какое-нибудь средство, когда дело шло о выскальзывании без лжи и фальши из-под его тиранической власти. И теперь, давая доказательство великой отваги, она подумала укрыть брата в беседке и матери устроить с ним хоть короткое свидание и беседу.

– А мать? А отец? – спрашивал неустанно Станислав.

– Ничего! Ничего тут не изменилось, – отвечала девушка, – ни на волос, ни на шпильку... узнаём только по всё более коротким моим платьям, Юлки и Баси, что время уходит, что постепенно взрослеем. Мама немного с каждым днём слабее и боязливее, отец – тот как всегда.

Она вздохнула.

– И никогда не вспоминали обо мне? – спросил Станислав.

– Громко, никогда! Отец сразу запретил твоё имя произносить, а ты знаешь, как его все слушают.

Бедный хлопец опустил голову и, идя как на смерть, в молчании прокрался сквозь калитку, через знакомые раньше улочки, otvorил дверь старой беседки, замок которой знал хорошо, и, плача, бросился на стоящую в ней лавку, а Мания живым шагом бросилась к усадьбе.

Недолго, однако, продолжались эти слёзы, вызванные воспоминаниями: близость усадьбы, свет, бьющий из её окон, та мысль, что там отец и мать, вывели его к дому. Он вышел, забывая осторожность, как злодей, подкрадываясь под окна, а сердце повело его под те, через которые мог увидеть отца и мать.

В комнате судьи, при закрытой заслонкой свече, в слабом её блеске увидел Станислав лежащего на подушках старца, одна нога которого была на стуле; он казался мрачно задумчивым. Рядом сидела жена в белом чепце, прижимаясь к страдающему и подавая ему какой-то напиток, который он с ужасом отпихнул рукой. По беспокойно бросаемым взглядам матери, по её движениям Станислав понял, что она уже о нём знает, а сердце бьётся одновременно любовью и страхом.

Эта картина так притягивала его непонятным очарованием, что, несмотря на впечатление страха, какой на него производил строгий и неумолимый отец, остался долго приросшим к окну, не в состоянии от него оторваться. Всё даже до мелких подробностей этой комнаты, которую знал так хорошо, завораживало его глаза. Удивлялся, что ничего тут не изменилось, даже все стулья и предметы интерьера остались на своём месте. Оборачиваясь с боязнью к отцу и всматриваясь в его черты, в лицо матери, сразу нашёл великую разницу между картиной, сохранившейся в душе, и той, которую имел перед собой... нашёл их обоих старыми, побледневшими, а на лице старца, рядом с суровостью, глубоко врытую в морщинки грусть. Но через мгновение это первое впечатление стёрлось и в обоих находил тех, которых столько лет назад бросил, словно только вчера попрощавшись.

– Пойду, – сказал он в духе, – в ноги им упаду, простить меня должны.

Но когда подумал, что прощение это купит жертвой дней своих, чувствами, мыслями, свободой, задрожал и силы изменили ему. Самое сильно любящее сердце может содрогнуться над такой великой жертвой, может остановиться на её берегу.

Стоял так Станислав, когда тень матери, выходящей на цыпочках из комнатки и надежда увидеть её хоть на минуту, отогнали его от окна к беседке. Там он нашёл только испуганную Манию, ищущую его повсюду, не могущую понять, что с ним стало, и опасющуюся уже результата слишком смелого шага. Она принесла ему, как женщина, помня о его потребностях, что где могла подхватить: фруктов, хлеба, свою чашку чая.

– Где ты был? – спросила она возвращающегося. – Только не увидел ли тебя кто?

– Не бойся! Никто меня не видел, я стоял только под окном отца... кто знает, увижу ли его ещё раз в жизни!

Через минуту у входа послышался шелест платья. Станислав упал на колени и почувствовал только, как дрожащие руки обнимали его голову, а горячие уста старушки покоились на его челе, которое увлажнилось слезами.

– Станислав! Станислав! – отозвалась она, рыдая, спустя минуту. – Сколько ты нам слёз стоишь! Мне... нам... Всем! Даже отцу! Да! Я видела его не раз плачущим, хоть слёзы глотал перед людьми!

– Значит, он меня простит, я ничего не желаю больше!

– Нет, Станислав, не заблуждайся этой напрасной надеждой. Он плачет, но в тебе не даст плохого примера остальным детям. Поклялся, а что однажды сказал, того никогда не изменит. Один Бог, что знает людские сердца, ведаёт, что будет, я не смею надеяться! Расскажи мне, дорогое дитя, о себе!

Станислав не спеша снова начал ту историю, но вовсе не жалуясь на свою судьбу, чтобы не обливаться кровью сердце матери.

– При работе, – сказал он, – хлеб иметь буду, а кто не работает? Это доля человека! Тяжко мне ещё, но кому же поначалу не тяжело?

Вопросы следовали за вопросами, а расстаться так было трудно! Бедная мать хотела хоть увидеть этого сына, который был для неё как потерянный, мужской голос которого только слышала, но свет в эту пору в беседке выдал бы их, а вести его домой боялись. Видно было борьбу сердца с непобедимым страхом и бедное сердце должно было ему уступить. Держала его руки в своих руках, ласкала болящую голову, угадывала мыслью и сердцем сына, который вырос в мужчину, плача, что её глаза даже поглядеть на него не могли.

– Иди, – сказала она после часа короткого разговора, – иди, ещё увидимся, может. Когда ты в Ясинцах... завтра, может, мне будет разрешено выйти на прогулку с Манией... мы встретимся вечером у границы, никто нас там не увидит.

И после тысячных прощаний и благословений, утешенный, ненасытный, размечтавшийся от только что испытанных чувств, бедный Станислав, выкравшись снова калиткой в поле, пошёл чёрной ночью к Ясинцам.

* * *

Было это воскресенье, один из тех ежегодных праздников, в который даже наименее набожные прихожане чувствуют себя обязанными съездить в костёлик и показать, что в их сердцах ещё тлеют искорки привязанности к вере.

Прекрасный осенний день благоприятствовал службе. Гостиницы в местечке, кладбище и площадь перед старым, чёрным, обитым сверху донизу гонтами костёлом С. полны были кочиков, кочкобричек, бричек, кареток, каламашек и простых возов.

Костёлик, едва могущий вместить толпу прибывших, всё больше наполнялся людьми разного класса, которые забивали его от решёток пресвитериума до великих врат и паперти. На первых лавках, покрытых красной закапанной воском материей, *honoratiore loci* заранее заняли свои места, а поприхотливее, что, и с Господом Богом разговаривая, не рады, чтобы

кто-нибудь другого класса в их разговоры вмешивался, презирая лавку, открытую для всех, на собственных табуретах и стульях расселись поближе к большому алтарю.

Тут и пан Адам Шарский, и жена его, и пани княгиня, их дочка, и, принуждённый для вида к набожности сам князь, держась кучкой, восседали на специальных креслах, вставали на колени на вышитые гербами подушки и, прежде чем начали молиться, бросили взгляд на народ Божий, чтобы подхватить, может, взгляд для разговора за обедом.

На первой лавке с правой стороны сидел пан судья Шарский с супругой и старшими дочками, а тут Фальшевич стоял на страже двух мальчиков. Побледневшее, сурового выражения, но серьёзное лицо судьи на фоне стиснутых голов люда, отражалось как-то так отчётливо, что даже князь спросил пана Адама, кто был этот господин. На что, кашляя, ни то, ни это отвечал пан Адам, даже капельку солгав, потому что родства не желал себе признать, хоть в костёле. Недалеко от этой лавки, под боковым алтарём, опираясь на деревянный столб, также как судья, бросался в глаза всем незнакомый молодой человек, черты которого, выражение лица, красивая фигура, благородный облик возбуждали любопытство всех. Был это Станислав Шарский, рядом с которым в серой тарататке, загорелый, стоял хорошо всем знакомый пан Плаха.

Есть лица, на которых жизнь и мысли оставляют след, как буквы на бумаге, такой простой для чтения, что самый неопытный глаз узнает, что Бог вложил в души этого облика. Такой в эти минуты юношеского расцвета и боли было лицо Станислава, напоминающее молодого Шиллера, когда создавал своих «Разбойников». Больше, может, только мягкости, стойкости, христианского мужества было в этих обычных и серьёзных чертах, несмотря на молодость. Направляясь в костёл, Шарский, хотя не думал о людях, надел на себя что имел наилучшего, и среди этой деревенской толпы простой его наряд как-то выделялся своеобразным вкусом.

В минуту когда Станислав, слегка протиснувшись сквозь толпу, остановился на глазах отца и своей семьи, ни у кого из них не был обращён взгляд в эту сторону, а мать, хоть, может, заметила его и узнала, даже не глядя, опустив глаза к книжке, должно быть, делала вид, что ничего не видит. Судья, несмотря на боль в ноге, стоял на коленях и молился из «Золотого алтарика», не обращая внимания на то, что его окружало. Только когда зазвучали колокола и звездочка на хоре, объявляя подъём, старец обратил глаза к алтарю, встретил сына, стоящего со склонённой головой, и побледнел. Волнение его было так велико, что он выпустил книжку из рук и остолбенел, потому что, несмотря на несколько прошедших лет, он узнал его сразу. Мать давно уже о нём знала, заметила также, что происходило с мужем, но боялась дать понять ему, что знает, почему он так смешался, молилась, молилась, тряслась от страха и исчезла почти в глубине лавок.

После недолгого времени старик пришёл в себя, поднял свой «Алтарик», казалось, ищет в нём прерванной молитвы, но руки его явно дрожали, а глаза, напрасно обращённые на страницы, бежали к ребёнку. Какое чувство метало этой твёрдой душой, трудно уже было узнать по лицу, покрытому опять холодной, равнодушной, неподвижной какой-то маской. Но молиться не мог, но смотрел и смотрел на этого потерянного ребёнка, на блудного сына, который появился перед ним в костёле, как бы во имя Бога, что всем прощал, умолял о прощении.

Невозможно выразить, что происходило с испуганной матерью, Манией и остальными родственниками; их ужас был виден на лицах и даже равнодушные заметили, что с ними что-то должно было произойти, так все были смешаны.

Побледневший Станислав горячо молился.

Именно, когда он поднял к небу влажные глаза, красивая княгиня Адель, которая постоянно со своей книжкой, оправленной в позолоченные пряжки, бросала по костёлу взгляды чёрных глаз, взглянула на него и её око задержалось на поэте. Вы бы сказали, что на бледном лице должен был выплыть румянец, но нет... поглядела только, отвернулась, поглядела ещё и, казалось, уже только с холодной осторожностью делает вывод о человеке по одежде.

А! Короткую имеет память сердце женщины! И хорошо сказал Фредро, что, кто доверил свою жизнь этому плющу, упадёт в пропасть, потому что плющ его не удержит. Кто бы мог догадаться, что эта прекрасная пани за несколько лет перед этим с нерушимой клятвой, облитую слезами, дала незабудку этому бедному парню! Только бедно и беспокойно бегало её око от Станислава к его родителям и едва ли он не догадался, что она, казалось, думает над шапкой пани судейши, не хотят ли часом эти родственники своим визитом на мессу скомпрометировать её в глазах князя. Люди этого света страшней всего в своих глазах компрометируют себя плохо скроенным фраком, старым платком, немодным платьем и человеком, не знающим французского.

Так рядом с этим великим алтарём и Жертвой разыгрывалась, как всегда на свете, как везде на свете, слёзная драма и комедия людского тщеславия. Тут плакали сын и отец, дрожала мать, теряющая сознание от страха, а дальше смешная куколка заботилась о мыльных миллионах.

Богослужение ещё продолжалось; на лицах не было видно никакой перемены, только судья, несмотря на неизмерное владение собой, иногда, казалось, испытывает более сильное чувство, которое сначала сдерживал волей, привыкшей приказывать.

Наконец пропели супликации, эту прославляющую песнь, а скорее воззвание к Богу, несравненное в своей простоте, как крик души, вырывающийся из неё мощным голосом, и когда звучали последние её звуки, народ начал отплывать на кладбище, собравшиеся расходились разными дорогами.

Адамово семейство, увидев Шарских, которых сама вежливость наказывала им просить в близкую усадьбу на обед, оба, как дочка, боясь компрометации перед зятем, делая вид, что не заметили родственников, не через середину костёла, как привыкли, но покорно стороной за лавками вышли, торопясь, чтобы их длинный кортеж родственников не нагнал при посадке в карету. Трудно описать, что они вытерпели за своё тщеславие, наказанное напрасным страхом.

Судья молился ещё и молился, Станислав не трогался с места, а бедная мать, когда ей пришлось убирать в мешочек книжку, очки, чётки и платок, всё по очереди роняла на пол.

Костёлик уже практически опустел, когда, наконец, старец поднялся, выпрямился и, не бросив уже взгляда на колонну, у которой видел сына, пошёл, ведя за собой всю семью, к выходу В его походке, чрезвычайно смелой и уверенной, видно было какое-то колебание, как если бы его что-то тянуло назад, как бы не владел ногами. Шёл и хватался за лавки, а, уткнув взор в пол, когда остановился у кропильницы, должен был искать её несколько раз пальцами, прежде чем опомнился и нашёл святую воду.

Идущие за ним все молчали, не смея даже взглянуть на него.

На пороге судья обернулся и посмотрел на костёл. Подъехал экипаж, но он не двинулся, не сказал ни слова, все ждали, как он, а сердце матери, до сих пор бьющееся только страхом, начало волноваться капелькой надежды.

После минуты ожидания показался Станислав, который уже, может, не надеялся встретить отца, а, узрев его перед собой, отступил, испуганный, но тут же волнение отобрало у него боязнь и память, подскочил и упал на колени.

Бледное, страшное лицо судьи было как мраморная статуя справедливости, мстительной и неумолимой, брови его резко стянулись, уста начали дрожать, рука метаться, но глаза наполнились слезами, он вытянул руки к сыну и прижал его к груди³.

Мать, братья и сёстры окружили их и Станислав почувствовал себя в объятиях всех. Но недолго продолжалось это временное забвение, старец после невольной чувствительности вернулся к суровости всей жизни.

³ Взаимоотношения Станислава с отцом, прототипом которому послужил отец Юзефа Крашевского, в этом романе вполне автобиографичны.

– Во имя того Бога, распятого на кресте, – сказал он серьёзно, указывая на деревянную фигуру на кладбище, – прощаю тебя и благословляю... приди и посиди за нашим столом ещё раз, вкуси, какими семейный хлеб и семейная любовь есть великими наслаждением – но для примера прощая тебя сердцем, рукой и головой, простить не могу проступка. На семье стоит общественная связь, на послушании – весь мир; ты порвал с нами, хотел свободы раньше времени, купил её задорого, но имеешь, что хотел. Ты мой сын, потому что я простил тебя, но никогда не будешь ни наследником, ни товарищем сестёр и братьев. Придёшь и пойдёшь, как чужой, вернёшься, как гость, но свободный, независимый, ничего нам не должен и мы также ничего тебе не должны.

Станислав на отцовский приговор ничего ответить не мог, сел на указанное ему место в возке, который вёз Фальшевича и его братьев, и так был счастлив, что хоть знал, что нерушимое слово отца лишало его всякой помощи и участия в наследстве, за одно это объятие он охотно отдал бы в жертву часть своей жизни.

Судья проделал всю дорогу в мрачной задумчивости, его жена, плача, целовала его руки, Мания скрывала перед ними свои слёзы, делая вид, что выглядывает из кареты, а на возке Фальшевич кивал только головой, присматриваясь, как Станислав не мог нарадоваться младшим братьям и их весёлому своеволию. Так они прибыли в Красноброд, а когда начали высаживаться, Станислава снова охватил страх – но судья с просветлевшим уже лицом ждал его на крыльце, и почти как чужого ввёл в дом.

Ещё раз сын упал к его ногам, но ничего, кроме повторного благословения, не получил.

– Слушай! – сказал неумолимый старец. – Как отец, я тебя простил, но не как глава семьи... ты чужим нам будешь, потому что хотел быть чужим, та цепь, однажды порванная, уже не свяжет, даже раскаянием, жалостью и прощением.

– Я тоже ничего не требую, кроме прощения и сердца, – сказал Станислав.

– А завтра, – добавил судья, возвращаясь к своему характеру, – завтра поедешь со мной к нотариусу и напишешь полный отказ от всякого наследства после меня, этого требую под благословением.

Ни мать, ни младшие братья и сёстры уже не смели заговорить с братом – само прощение казалось им чудом Божиим, что большего требовать не смели. Судья вышел, сказав эти слова, а Станислав снова увидел себя в кругу семьи, под домашней крышей, счастливый, весёлый, лёгкий, полный сладких надежд будущего.

Только гнев отца его тяготил – бедность была для него таким давно предвиденным концом, что он научился глядеть на неё без опаски. Отдался, поэтому весь неожиданному удовольствию беседы с матерью, не могущей на него насмотреться, с братьями и сёстрами, которые его обступили, разрывая на все стороны. Впервые за долгое время этот час он мог назвать счастливым!

* * *

Когда эта сцена разыгрывалась на пороге костёла, кладбище уже почти было пусто, однако, нашлось несколько любопытных, находящихся везде, где можно что-то подглядеть или подслушать, – и те были издали свидетелями отцовского прощения. Поэтому по соседству сразу громыхнула весть, так преукрашенная, что даже те, что были свидетелями события, каждый иначе описывая, отчёту своих соратников удивлялся как новости. Из этих всех рассказов эклектики сказочники по профессии строили свою аутентичную версию, окончательную, исправленную, и эта поэма пошла как материал среди преданий людей в общественное достояние.

Даже до усадьбы семейства Адама через пана каморника Бортилу сразу в этот день дошла новость о примирении сына с отцом, но её повторили потихоньку, чтобы не пробудить

любопытства князя. Сама княгиня узнала некоторые апокрифичные, но хорошо составленные, подробности от своей гардеробной и глубоко задумалась, завязывая на ночь волосы.

– Это, должно быть, неотёсанное создание, – говорила она в духе, – но совсем ладный мужчина, имеет что-то поэтичное в себе, поэт, поэт! Если бы не в муже было дело, которого эти кровные с другого света могут обескуражить, велела бы папе просить его... А! Мы бы открыто посмеялись над нашей детской любовью! – Она вздохнула про себя.

– А, хорошие это, возможно, были времена, всё же непроменяла бы их на сегодняшние. Нет! Нет! Но на час, на мгновение, если бы к тому белому платьицу, к тем чувствам, к тому садику можно было возвратиться!

Она ещё раз вздохнула, улыбаясь себе в зеркале, так ей с этой грустью было ладно!

– Что за детство! Что за детство! – воскликнула она. – *Que je suis bete!*

Несмотря на это, на следующий день была беседа между ней и родителями о Шарском; княгиня намекнула, что, может быть, годилось, когда князь поедет куда-нибудь по соседству, просить Станислава... На этом кончилось.

Достаточно зародыша такой мысли, чтобы изнеженный ребёнок упёрся угодить своей фантазии. Аделя, отправив на два дня мужа к соседям на охоту, сразу на следующий день сумела воздействовать на отца так, что он послал за Станиславом.

Действительно, велико было его удивление, когда он получил вежливо-холодную записку кузины, но отец и мать уговаривали его, чтобы поехал, Стась не смел признаться, как они в последний раз расстались с паном Адамом и, хотя с немалым отвращением, он должен был сесть и поехать. Мысль об Адели приходила ему часто, но слышанный в дороге разговор на века охладил его к ней; не чувствовал уже, как раньше, при воспоминании о ней учищённого сердцебиения; какое-то беспокойство в нём ещё осталось. Оно возросло, когда он приблизился к месту, памятного ему одной минутой надежды, и Станислав вышел из своей бедной брички, запуганный прошлым, оглушённый панством и роскошью, которые тут теперь по причине зятя с гербом ещё были более видимыми, чем когда-либо.

В гостиной он не нашёл ещё никого, а разбросанные книжки свидетельствовали, что литература имела тут союзников. Мы обратим тут внимание, что чтение, должно быть, было для многих неприятностью и немалой повинностью, когда им так рисовались и хвалились. Нет покоя, в котором принимают гостей, где бы несколько запылённых книг не свидетельствовало, что хозяин не читает. Есть это обычно прекрасно оправленные и украшенные издания той бездарности, которые никто не берёт в руки, используя как свидетельство ступени своей цивилизации. Кое-где таким образом найдёшь разбросанные литературные новости, которые, естественно, пока не постареют, никому взять нельзя, чтобы столик утратил своё украшение; а иногда костяной нож, всунутый в середину, должен был быть нерушимым доказательством, что там читатель остановился, а скорее – увыл! – тот, что страницы прорезал. Есть также в моде – а кто бы это не знал – что, принимая писателя, на столик кладут его труд; но нужно быть, не знаю каким тщеславным, чтобы этот комплимент, часто стоящий несколько десятков выпрошенных золотых, принять за добрую монету. Случается, что в подобном случае вежливые хозяева выучивают и несколько названий сочинений, и несколько мнений или дух автора. Если бы половину этой комедии, этой работы использовать на что-то благородно-чистое, как бы во стократ было лучше. Ложь в нашем нынешнем свете имеет то великое неудобство, что ничуть солгать не умеет, а всегда того, кто её использует, унижает.

Станислав, которому эти моды и обычаи были вещь чуждой, привыкший принимать всё как по писанному, как было, удивился, заметив, возможно, вчера, позаимствованную у пана арендатора и брошенную на великолепный палисандровый стол свою поэму рядом с новым романом Дюма и поэмой Сумета. Его сердце забилося благодарностью и он почувствовал себя расположенным всё простить этим людям! И поэты люди! Взяв в руки какую-то книжку, он погрузился в мысли, и не заметил, как красивая Адель проскользнула в салон.

Шелест её шёлкового платья и лёгкий намеренный кашель пробудили его от задумчивости, которую можно было принять за поддельную, такой была глубокой. Княгиня, наряженная, как требовало её положение, от бархатов до атласов, вся в кольцах и блестящих безделушках, имела выражение лица красивой куколки, но выглядела бледно-меланхолично, и, хотя немного перебрала меру в одежде, отличалась, действительно, чем-то аристократичным. При виде её виде Станислав смешался, но это новая Ад ела мало, мало напоминала ему прежнюю... была это, может, её сестра, но не она!

Передвигая колечки на белых красивых пальчиках, княгиня, удобно сидящая в кресле, начала с неохотой разговор, среди которого её взгляд часто обращался на молодого человека. Этот взгляд был в постоянном споре с физиономией и полным гордости лицом, потому что иногда, казался, поблёскивает былым лучиком чувства – но Станислав не допускал в себя воспоминания.

Спустя минутку пани княгиня встала и, беря себя в руки, кивнула Станиславу.

– Может, мы бы пошли пройтись в сад, – сказала она с неопикуемой улыбкой, – мама и папа не подойдут скоро, а утро такое ладное! Ты давно не видел мручинецкого сада, посмотрим, так ли он изменился.

– Наверное, меньше, чем люди, что по нему ходят, – ответил довольно весело и постепенно осмелев, Станислав. – Всё меняется, а больше всего люди.

– Правда, – добавила княгиня, – всё, всё, мир был бы очень скучным, если был шёл так однообразно...

– Конечно, – сказал Станислав, – мы принимаем мир, как есть, потому что переделать его невозможно.

Говоря это, Стась отворил калитку и они вышли как раз на ту улицу, которой несколько лет назад оба бегали так весело и рука в руке к тенистым липам в глубине. В самом деле, сад был очень изменившимся, потому что привезённый немец много в нём понасажал, вырезал, поставил лавки и каменные столы, какие-то фарфоровые сидения, урны и т. п. Станислав не мог направиться к знакомому месту и остановился, удивлённый.

– Не правда ли, – спросила его княгиня, смеясь, – невозможно узнать сада, так теперь красиво и по-новому выглядит.

– Новый, это правда, но чтобы был более красивый, чем прошлый, не скажу, – сказал Шарский со вздохом, – я так ценю воспоминания!

Княгиня только рассмеялась, медленно передвигаясь дальше.

– Ты, значит, несомненно, ищешь здесь деревянную лавку и улицу, где мы бегали вместе. О! Какой же из вас ещё ребёнок!

– Ребёнок! Правда! – живо прервал Станислав. – Потому что ищу чего-то большего, чем лавки и улицы... потому что ещё недавно носил на груди...

– А! Наверно, ту славную незабудку, которая мне в эту минуту приходит на ум... Как это было смешно! Ха-ха! Как же это было смешно! И ты её ещё носишь? – спросила Адела.

– Нет, уже нет, – сказал Станислав.

Лицо княгини изменилось и приняло более суровое выражение.

– Это лучше, – сказала она потихоньку, – не нужно слишком долго быть ребёнком, хотя бы кто родился поэтом, потому что ничего более смешного, чем продолжительное детство...

– А ускоренная старость? – спросил смелее Станислав.

– Та только грустной быть может, но не смешной, – прервала, становясь гордой, Адела, глаза которой, однако, обратились к земле.

Видно было, что она не ожидала такой смелости в кузене и, думая, что ответить ей не отважится, в этот опасный вдалась разговор; но Стась, ничего уже не имея для потери, не чувствовал нужды утаивать свои мысли.

– Сад очень изменился, – сказал спустя какое-то время молодой человек, приближаясь к старым, немного обрезанным, липам, которым придали новые формы для показа дальнего пейзажа, – но сердце узнаёт старых друзей. Как же бы я не узнал этих достойных лип? Ведь это место клятвы! – воскликнул он со смехом.

Княгиня, вызванная таким образом, явно смещалась и, немного раздражённая, ответила вопросом:

– В самом деле?

– Правда, свидетелям поотрубали головы, но и так всё-таки попасть на них можно.

– Правда, – принуждённым смехом прерывая, воскликнула вдруг Адела, – ведь ты мне клялся в вечной и негосимой любви! О! Какими мы были смешными, серьёзно, со слезами обмениваясь клятвами и забывками.

– Правда, это было неизмерно смешно, – сказал Станислав, – двое детей, которые не знали света, которых целый свет разделил... после нескольких дней, после нескольких ударов сердца... слишком рано это было! Слишком рано! И однако, пани, – сказал серьёзно Станислав, – из всей моей жизни есть эта одна, может, минута, которой никогда не забуду, так мне глубоко запала в душу.

Красивая пани только улыбнулась.

– Ребёнок ещё! – повторила она сквозь белые зубки.

– Не отрицаю! Но мне жаль той милой Адели, которая тогда не была ещё ни княгиней, ни пани, ни, может, так красива, как ты сегодня, но имела на себе ангельские крылья и ореол идеального света...

Всё больше удивлённая и смешанная отвагой бедного юноши, Адела отвернулась с суровым лицом и обещала себе строить шуточки, но боялась разговора, возвращающего в сторону чувств, опасного и... скучного.

– Извини, – сказал, видя это, Станислав, – ты сама, вероятно, вызвала эти ненужные старые воспоминания, а я ничего в себе таить не умею.

– Это очень плохая привычка!

– Для простых, как я, людей, это обязанность.

Княгиня пожалала плечами.

– Пойдём, пойдём, – сказала она, – чтобы ты уже воспоминанием той Адели не раздражал меня напрасно.

– А, пани, – прибавил, смеясь, хоть с горечью, Стась, – каждую минуту в жизни мы должны были бы так раздражаться, оплакивая умерших-живых, которых узнать ни с сердца, ни с лица нельзя. Такой закон жизни... переболеть нужно и молчать...

Разговор был на такой опасной дороге, что в любую минуту мог перейти в ещё более отчётливые упрёки и жалобы. Княгиня, заметив это и видя, что шуточки над несмелым кузеном совсем уже удасться не могут, поспешила назад к дому, кислая, насупленная и гордая.

Когда вошли в покой, в котором уже застали супругов Шарских, Адела упала на стул, взяла в руки книжку и совсем замолчала. Станислав говорил смело и, воспламенённый причинённой ему заново болезненной кривдой, рвал узы, которые его каким-то остатком вежливости и почтением к богатству соединяли с этим домом. Во время, однако, когда он становился более смелым и меньше обращал внимания на их рисования величиим и могуществом, они представлялись всё более вежливыми, потакающими, деликатнейшими, желая его убаюкать. Только Адела, упорно занимаясь чтением, молчала.

Среди обеда неожиданный грохот кареты немало устрасил всех, а когда узнали коней и экипаж князя, ещё больше смешались. Князь вошёл в залу и, первым взглядом заметив между домашними незнакомца, внешность которого его поразила воспоминанием где-то знакомых черт, задумался, ища в голове, кто бы это такой был.

По обхождению его с Шарскими было видно, что чувствовал, какую делал милость, становясь их зятем; они снова, даже до избытка унижаясь перед ним, казалось, своим поведением подтверждают его убеждение; так дивно ему льстили. Хозяин ломал себе голову, как тут представить пришельца, которого не хотел назвать кузеном, а не мог иначе.

Поэтому потихоньку пробормотал:

– Я имею честь представить вашей княжеской светлости моего... – тут он что-то проглотил и подавился как костью, – пана Станислава Шарского.

Князь имел хороший слух и неплохую память, пришла ему сразу в голову та сцена со Станиславом в Вильне, в которой он сыграл не самую красивую роль, но притворился, что не узнал Шарского, смолчал и вежливо поклонился. Мина его, однако, показывала, что ему этот гость не был по вкусу, потому что он скривился, закрутил носом, и под предлогом отдыха и перемены одежды тут же исчез из покоя.

Обед окончился молча, а вскоре после него Станислав, не задерживаемый, попрощался с родственниками, вздохнул свободней, выехав из-под их крыши, не без жалости, однако, по Адели, так странно, так непонятно изменившейся!

* * *

Пребывание Станислава в Красноброде также не протянулось долго, ибо с первого дня Станислав убедился, что отец, хоть его простил, ничего для него не сделает. Нужно было самому о себе думать и снова оставить деревню, ища тяжёлого хлеба в городе, который за мысль так трудно купить! Прощание с матерью, братьями и сёстрами было нежным, с отцом – холодным. Старец, может, имел в глазах какую-нибудь слезу, но ей выбежать не позволил; ещё только раз повторил Станиславу, что как сын ничего после него не может ожидать, и, благословив его на дорогу, не спросил даже, есть ли на чём её проделать. Мать, братья, сёстры, все сбросились из своего убогого имущества для изгнанника: но Стась с деланной весёлостью от честного их дара отказался, заверяя, что ни в чём не нуждается. Отосланный не дальше, чем до Ясинец, к Плахе, он снова оказался один-одинёшенек на Божьем свете.

О! Ему было тоскливо, но когда же это в жизни не тоскливо? Есть минуты просветления, но фон их серый, но на дне этих мимолётных молний всегда господствует темнота. Легче он, однако, выбирался в дорогу с родительским благословением, не оставляя за собой тяжести отцовского гнева, хотя ни одна из трудностей жизни решена для него не была, и он с полной свободой всякую заботу о будущем принял на свои плечи.

Он чуть не заплакал над отъезжающим слугой из Красноброда, который его сюда привёз, как его в школу возил; а когда колымажка исчезла со двора, такую почувствовал грусть и одиночество, что убежал со слезами в свою комнатку.

К счастью, Плаха умел уважать эту сердечную грусть и ни утешать его не пришёл, ни задерживал его на следующий день, когда настаивал на отъезде, потому что понимал, что близость Красноброда обливает кровью сердце ребёнка, отправленного так в свет на собственные силы.

На следующее утро он подыскал ему еврейчика, собирающегося якобы ехать по своим делам в Вильно, привёл его из ближайшего городка и, по-хозяйски набив возок дорожными припасами, составленными из колбасы, сыров, пирогов, масла и жаркого, так устроил путешествие Станиславу, чтобы оно ему почти ничего не стоило.

Достойный литвин как-то полюбил поэта и умел так соболезновать его положению, что, возможно, тайно заплатил еврею, а, зная, что Шарский в дороге с израильтянином не справится, выслал с ним ещё собственного слугу, старого Петра.

Пётр давно уже, после смерти отца Плахи, был освобождён от дворской службы и осел в хате на земле, но в больших случаях он прислуживал Плахе, хоть уже ни одежды приличной, ни ботинок не имел и ходил в лаптях и сукмане.

Был это молчун, хмурый, малоговорящий, чрезвычайно подозрительный человек, но проверенной честности, трезвости и правильности. Ему на руки сдал Плаха своего гостя и, всплакнув на крыльце, отправил его, более спокойный на сердце. И, нуждаясь в развлечении после прощания, которое его немного растрогало, потому что даже слёзы наворачивались на глазах у усача, взял на плечо охотничье ружьё и бросился с собакой в поле.

Станислав снова ехал в свет, задумчивый по-своему и уже весь в себе, потому что, к счастью, ему не нужно было думать о дороге и мог сдать всё управление ей на старого Петра. Дорога, хоть плохая от песка, теперь шла уже быстрее и резвей, потому что нигде не задерживались и, хотя передвигаясь почти шагом, несколько миль в день могли проехать.

Еврею не нужно было много говорить, Пётр всю жизнь молчал и, только резко спрошенный, когда кивком головы помочь не мог, открывал рот и махал рукой. Стась сейчас не имел охоты беседовать, и так молча они направились в Вильно.

На какой-то день этой мрачной дороги, в густой осенний дождик, капающий сорок восемь часов, показался вдруг город со своими башнями и туманом дыма, который развеивал ветер, как большую занавесь, а Станислав приветствовал его с какой-то грустью и душным предчувствием тяжёлых минут, которые его тут ждали.

На Троицкой улице, так как это была пора для пана Горилки вербования в свой дом, Шарский увидел его под зонтиком, поджидающего проезжающих, а в стороне Герша, притулённого к воротам. Не могла уже ускользнуть от них жертва, как-то натиск Горилки и его капающий зонт задержали Станислава, а возок его закатился в знакомые ворота.

– Ваша комната ждёт вас! – сказал, выбегая вперёд с ключами, хозяин. – Я снова её велел обновить, покрашенные обои приклеили, двойные плотные окна, потому что зиму нам календарь предсказывает суровую.

– А как ваши успехи? – спросил Станислав. – Как ваша жена?

– *Жена!* Не имею жены! Это последняя негодяйка! Не вспоминайте её! – воскликнул Горилка.

– Как это? Ведь оказалось, что это была ложь?

– Оказалось, что снова дьяволы её в свет понесли, но как, прошу вас! Вот что было. Приехала сюда группа комедиантов, что представления показывают... а я их здесь разместил, ничего не педчувствуя. Та, с позволения, уважая ваши уши... недостойная, полюбив антрепренёра, договорилась с ним и вылетела. Но баста! – прибавил Горилка. – Теперь мне уже не объяснится, больше в дом не приму... баба с возу – колёсам легче... Вот ваш покой! Покойник! Разве не восхитительно? Гм? Для холостяка нет в целом городе более весёлого апартамента; окно на улицу, улица людная и тихая.

Этот апартамент, так нахваливаемый, вовсе не приобрёл с того времени, как его знал Станислав, скорее всё больше видны на нём были лета, но он имел великий признак дешивизны и Шарский должен был снова в нём разместиться, хотя комнатка без прежних товарищей была ещё грустнее, чем накануне.

Сразу на следующий день, оставив Петра, отдыхающего при вещах, Стась побежал к доктору Бранту, которого застал в кресле с книгой в руке и борящегося со сном.

– Ха! Как поживаешь, путешественник? Письмо мне, наверное, привёз от моих?

– Только от одного! – сказал Стась.

– А остальные?

– Несколько лет, как их уже на свете нет.

– Смотри-ка, как это люди умирают! – вздохнул доктор. – Не подождали даже, когда я их навещу! Ну, а молодой Плаха?

– Жив, и вот письмо, которое он написал.

– Положи его, прочитаю в свободное время, – сказал Брант, вздыхая, – садись и расскажи, как тебя приняли.

– От сердца, по-братски!

– В Плахе я был уверен, молодой, честный должен быть литвинчик с костями... а как же он там поживает?

– Так, что лучше не желает, хоть имеет мало, говорит, что не поменял бы ни на какое иное положение в свете.

– А твои? Отец? Мать? Братья и сёстры? Ты был? Видел их? – спросил беспокойно доктор.

Станислав откровенно рассказал ему всё своё путешествие, во течении рассказа доктор брал понюшку за понюшкой.

– Всё это хорошо, – сказал доктор, – но что ты теперь предпримешь, вернувшись?

– Буду работать!

– И это мило; но что умеешь и что можешь делать?

– Я собираюсь начать поэму, драму, историю.

Брант пожал плечами.

– Слушай-ка, – сказал он, – хотя с Троицкой улицы довольно далеко до меня... но знаешь, какая беда ко мне на старость приплелась? Я потерял аппетит; когда мне не с кем говорить во время обеда, есть не могу. Если бы ты сделал милость и приходил ко мне на обед...

Стась рассмеялся, потому что действительно, Брант немного его уже считал слишком наивным.

– Но, слушай-ка, – прикрикнул Брант, стуча себя по груди, – клянусь тебе Боэрхавем, Бруссасем, кем хочешь, даже Эскуларом и Хироном, и мифологической Хигией, что не баламучу. Глупый желудок мой портится; доказанная вещь, что разговор заостряет аппетит.

– Дорогой доктор, принимаю ваш обед, но не думайте снова, чтобы я не понял того, что хотите мне помочь, боясь, как бы я с голода не умер.

– Ты смешной! С голоду сейчас никто не умирает, даже литераторы.

Но в действительности не я тебе, а ты мне милость оказываешь, потому что всё так, как говорю; есть не могу, когда не с кем говорить... пункт о первой *regularissime* кладу на стол.

Станислав пожал честную его руку и, выскользнув, взволнованный полетел в издательство, где попал как раз на издателя на тихом каком-то совещании с Базилевичем. Увидев входящего, они прервали разговор и хозяин подошёл к нему, подавая ему руку с униженной миной.

– А! Всё-таки вы к нам возвращаетесь!

– Как видите! К услугам. А что же, вышла моя поэзия?

– Да... то есть... то есть... напечатана, только сшивается.

– Но я уже видел экземпляры в свете.

– Первые несколько десятков экземпляров, остальные у интролигатора.

– Я не мог бы свои получить?

– Пожалуй, позже, дорогой пане, пожалуй, позже.

Шарский понизил голос.

– А не дали бы вы мне какое-нибудь занятие? – спросил он несмело.

Издатель потёр руки, подпёр лицо, подумал.

– Ничего, ничего не имею в проекте, сомневаюсь, чтобы что-то нашлось.

– Не вакантно ли место корректора или что-нибудь подобное?

– Нет, нет, а потом, – добавил с усмешкой, хозяин, – поэты обычно самые плохие корректоры; я, собственно, свидетель вашей поэзии, которую после вас должен был велеть ещё два раза просмотреть.

Он остановился.

– Но, но, может, вы бы переводили? – спросил он.

– Буду переводить, – сказал Станислав.

В эти минуты приблизился и Базилевич, с двусмысленной улыбкой поглядывая на товарища.

– О чём это у вас речь? – сказал он, влезая в разговор. – Если можно узнать?

– Для меня попросту речь идёт о занятии и хлебе, – ответил Станислав.

Издатель и литератор поглядели друг на друга, а Базилевич выпятил губы с насмешливым состраданием.

– Найдём тебе что-нибудь, – сказал он, задумываясь, – приходи-ка ко мне.

– Где ты живёшь?

– Я? Ну, с подкоморием Клапцем, потому что и он сюда прибыл с семьёй на зимовку. Если бы не дочка, в которую я формально влюблён, я бы бросил этого болвана. Мы стоим где-то на Бакште, у меня отдельная комнатка...

Издатель тем временем ходил, задумчивый, по помещению, выдрал себе немного волос с лица и, взяв, наконец, Стася за локоть, сказал ему:

– Приходи ко мне завтра утром, подумаем.

Базилевич, который уже выбирался к выходу и натягивал перчатки, пригласил Стася с собой на беседу, а, не желая его тащить аж на Бакшту, вошёл с ним в первую кофейню с краю, где, велел подать себе любимый в то время академиками глинтвейн, сел, расспрашивая бывшего.

– Ну? Что думаешь? – спросил он. – Стараться о гувернантстве?

– Нет, – сказал Станислав, – это призвание, к которому не чувствую себя расположенным; а совесть не позволяла мне взяться за то, чего бы не был в состоянии честно исполнить.

– Значит, будешь жить пером?

– Какой-нибудь работой, хоть переписыванием... но свободный и независимый.

– Дай тебе Боже счастья! – сказал Базилевич. – Мне уже это гувернантство, хоть короткое, доело. Если мне Эмильку выкрасть не удастся, над чем работаю, мать уже понемногу имея за собой, брошу это всё к чёрту и возьмусь за подписные издания. Это лучший кусок хлеба, чем писание, издатели живут этим всё-таки.

– Но о чём же ты так таинственно совещался с паном Х.?

– Я временно принял за издание трудов Нарушевича... что-нибудь мне принесёт. Фабрикуем, между нами говоря, несколько од, для того, чтобы мы могли сказать в титуле, что есть в нашей новой публикации вещи совсем не изданные... Ха! Ха! Если бы ты знал, как хорошо мне удалось уловить манеру Нарушевича... и тот стиль, в каком, например, ксендз-епископ писал «Оду к солнцу», называя его: «Самым дорогим кольцом правой руки Творца».

Станислав удивлялся наглости, с какой это говорил Базилевич, но в первые минуты так был ошеломлён, что заговорить не смел.

– Мошенник-издатель думает, что меня в поле выведет, – говорил дальше Базилевич, покачивая головой, – но съест лиха, попала коса на камень, посмотрим, кто тут кого обманет.

Эта странная речь болезненно зазвучала в ушах человека, который призвание людей пера привык видеть совсем с другой стороны – как самопожертвование и священство.

– Ха! – сказал он. – Я не ожидал, что ты можешь мочить руку в подобной грязи.

Базилевич усмехнулся.

– Никогда из тебя ничего не будет, – ответил он, закуривая трубку, – оставим это в покое и не будем говорить о том... я, так или эдак, добьюсь чего-нибудь на свете, ты или должен измениться, или умереть с голоду.

– Ты издал то, что объявил изданиями по подписки?

– Ещё нет, – сказал холодно литератор, – заранее ругаюсь с издателями подписных изданий, которые напоминают о себе, а не спеша печатают. Так как деньги давно потрачены, велю им из-за непредвиденных расходов доплатить при получении книжки.

После этих признаний Шарского охватило такое возмущение и отвращение, что, вдруг встав с места, не имея даже отваги подать руку Базилевичу, убежал весь в огне из кофейни.

Круг его давних знакомых кончался почти на Базилевиче, потому что профессора Ипполита не было ещё в Вильне, а Иглицким Шарский так же гнушался, как спекулянт, с которым только что порвал, пошёл, поэтому, в свою одинокую комнатку с сжатым сердцем, а какая-то старая бессмысленная привычка повела его через Немецкую улицу Его глаза, привыкшие искать здесь кого-то в окне, поднялись на каменицу Давида Белостоцкого, но в ней было пусто и темно, даже магазин стоял закрытым, с листком о найме.

Стась будто бы задержался спросить о давних знакомых, но не нашёл, от кого бы о них узнать.

Таким образом тоскливо началась новая его жизнь, среди ничем невосполнимой пустоши, с неизличимой грустью в сердце и каким-то холодным разочарованием. Только одно он имел лекарство для всего, всемогущую панацею – работу. оперевшись на книжку, свесившись над бумагой, отступая в прошлое, зашиваясь в чужую шкуру и чужую жизнь, убежал от настоящего, среди которого был чужим и ненужным. Работа также стала для него необходимостью, почти условием будущей жизни, которой представлялась единственным рычагом. Ничего до сих пор не стёрло её направления, кроме внутреннего расположения и потребности души, писал, поэтому, что хотел, изучал то, что его притягивало, работал, как пожелал, но наступала минута, в которой это должно было измениться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.